

Сказка о светящемся шарике

У ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА не было ничего. Дом его был пустой куб, где не на чем было остановить глаз и не о чем было думать. Рядом был лес. В лесу были разнообразные растения и звери, но человек ни о чем не думал и в лесу, ведь он ходил туда только за тем, чтобы вернуться домой, в свой пустой куб.

Но однажды ночью человек проснулся — в дом стучались. Он открыл глаза и увидел рядом с собой на полу светящийся шарик.

«Откуда этот шарик? — спросонья удивился человек. — Надо будет показать кому-нибудь завтра же и спросить, что бы это могло значить».

Стук повторился. «Кто это стучит?» — спросил человек и услышал голос:

— Никому не рассказывай про шарик и никому не показывай его. Никому! В остальном — делай всё, что считаешь нужным. Теперь спи.

Когда человек проснулся, он снова увидел шарик и подумал: «Я теперь не смогу спокойно жить, пока не узнаю, что это за шарик. Может быть, я всё-таки смогу что-нибудь узнать о нём

у людей, несмотря на то, что мне не велено о нем говорить?»

И он спрятал шарик за пазуху и вышел из дома. Ему встретился знакомый.

— Почему ты сегодня так странно на меня смотришь? — спросил знакомый.

— Я не могу сказать тебе об этом, — ответил человек. — А лучше ты расскажи мне что-нибудь.

— С удовольствием, — сказал знакомый. — Слушай. У меня заболела собака, и я её вчера пристрелил: что толку о ней заботиться, если она уже всё равно не сможет охранять дом, а у меня и так хватает забот. Так ведь? Потом я работал в поле, и меня чуть не укусила змея. Что-то их много в этом году. Вечером я выпил в кабаке пива, и дома на меня набросилась жена. Она визжала, как свинья, я не выдержал и врезал ей подзатыльник. Такие дела.

— А еще? — попросил человек. — Разве ты не расскажешь еще чего-нибудь?

— Еще? Кажется, мне больше не о чем тебе рассказать. И всё-таки: почему ты так странно смотришь?

— Жаль, — задумчиво сказал человек. — Жаль, что тебе больше не о чем мне рассказать.

Человек простился со знакомым и покинул свой поселок, потому что он не мог больше оставаться на месте.

Он шел довольно долго и по пути разговаривал с каждым встречным. Он многое услышал от людей, но ни слова о светящемся шарике. И с кем бы он ни разговаривал, все спрашивали его: «Скажи, человек, о чем ты думаешь? У тебя очень странный взгляд». — «Да так, — отвечал человек. — Думаю о том, о чем вы только что мне рассказывали».

Еще человек стал наблюдать за звездами, животными и растениями. Он и у них искал ответа на свой вопрос о шарике. Он стал изучать и запоминать все те их свойства, которые, как ему казалось, могли таить в себе ответ. Например, он смотрел на какую-нибудь птицу и думал: «Если она сейчас почешет клювом правое крыло, как это сделала другая птица, которую я видел вчера в это же время дня — то, значит, я был прав». И если человек угадывал движение птицы, он считал, что теперь на шаг приблизился к ответу на свой вопрос о шарике. Так человек стал любознательным. Если прежде, видя лес, он думал только о том, что снова вернется домой, то теперь каждая травинка волновала его и вызывала множество мыслей.

Однажды, когда очередной день уже собирался отправиться за горизонт, человек проходил мимо одного дома. Во дворе дома старик колот дрова. На веревке было развешено его скромное белье.

— Здравствуй, старик, — сказал человек. — Мой тебе совет: уноси скорее дрова в дом и снимай с веревки белье. Вот-вот может пойти сильный дождь.

— Как? — удивился старик. — Весь день было ясно, да и сейчас на небе ни облачка. Откуда взяться дождю?

Человек ответил:

— Недели две назад я шел по дороге ночью. На небе проглянула одна звезда, которой я прежде не замечал. На следующий вечер цвет сосновых стволов был особенно красен, и вот неожиданно сгустились тучи и полил дождь, хотя ничего, казалось бы, его не предвещало. Так вот: прошлой ночью я снова видел эту звезду, и я подумал, что если сосновые стволы сегодня вечером будут опять особенно красны, то, наверное, быть дождю. Стволы подтверждают мою догадку. Послушай мой совет, и, если я окажусь не прав, я сам вынесу дрова обратно во двор, развешу белье и уйду. А если я окажусь прав, ты разрешишь мне переждать дождь у тебя в доме. Сейчас давай я помогу тебе побыстрее собраться.

— Ты странный человек, — сказал старик, — но именно поэтому я тебе поверю.

И старик последовал совету.

Не прошло и получаса, как небо заволокло тучами, засверкали молнии и начался сильный дождь.

Старик и его гость сидели в доме за столом и разговаривали.

— Удивительный человек, знаешь ли ты сам, куда держишь путь, или ты идешь просто так, без цели? — спросил старик.

— Ни то, ни другое, — отвечал человек. — Я не знаю, куда я иду: с некоторых пор я просто не могу остановиться. Но цель у меня есть, хотя рассказать о ней я не могу. Может быть, *ты* знаешь, что ждет меня впереди на пути?

— И да, и нет, — отвечал старик. — В трех днях пути по этой дороге находится город, но ни я, ни кто-нибудь из моих друзей и родных никогда не бывали в этом городе.

— Отчего же?

— Линия городской границы обставлена башнями, и на каждой сидит строгий охранник.

— И входа нет совсем никому?

— Помню, когда я пробовал войти в город, охранник внимательно посмотрел мне в глаза, а потом сказал: «Входа нет». То же самое услышали мои друзья и родные. Им так же зачем-то смотрели в глаза. Ночуй сегодня у меня, а завтра, если хочешь, отправляйся в город. У тебя очень странный взгляд. Никогда мимо моего дома не проходил человек с таким взглядом. Может быть, охрана заглянет в твои глаза и пропустит тебя.

На следующий день человек попрощался со стариком и направился в город. Старик крикнул вслед человеку:

— Странный человек! Ты не раскрыл мне своей цели, но спас мои дрова и белье от дождя! Наверное, твоя цель помогла тебе в этом! Спасибо тебе!

Через три дня пути, как и сказал старик, человек подошел к границе города. С невысокой башни к нему спустился охранник. Он молча посмотрел в глаза человеку и, немного помедлив, крикнул второго охранника, который сидел на соседней башне. Второй охранник, спустившись, тоже посмотрел в глаза человеку. Затем оба они отошли и о чем-то посоветовались друг с другом. Тогда пришел третий охранник и опять посмотрел в глаза человеку, и после общего совета человеку был задан вопрос:

— Какова цель твоего прибытия в город?

— Мне нельзя об этом говорить, — честно ответил человек.

Охранники переглянулись, кивнули друг другу и открыли ворота. Человек перешел границу.

Через несколько часов пути он взошел на холм — вдали показались стройные городские

башни. Крылатые машины разлетались над ними, как птицы; огромные полосатые шары разных цветов устремлялись в небо, как дождевые капли, медленно летящие не вниз, а вверх. У высоких стен толпились и шумели маленькие, как муравьи, люди.

Вскоре человек вошел в яркую многоголовую толпу и спросил у одного из жителей города:

— А что, сегодня у вас какой-то праздник?

— Какой праздник? — удивился житель. —

Обычный, вполне обычный день.

— Почему же тогда все так оживлены? — спросил человек.

Житель еще больше удивился:

— Ты что? Первый день в нашем городе?

— Да, — ответил человек.

— Но если даже и так, то ты ведь не случайно попал сюда, — житель присмотрелся к человеку, почти как охранник, только слегка боязливо. — Неслучайно. Вот и не удивляйся. Мы часто собираемся по вечерам вместе. Нам интересно о чем-нибудь поговорить.

— О чем-нибудь? — не понял человек.

Житель в негодовании топнул ногой:

— Да, о чем-нибудь, и...

Он махнул на человека рукой и трусливо убежал в толпу.

Человек решил лучше узнать город и пошел по улицам. Все жители, которых он встречал, занимались чем-нибудь удивительным. На одной улице, например, все изготавливали из дерева и металла инструменты разных форм и размеров. На другой улице при помощи этих, уже готовых инструментов, другие люди рождали чудесные, восхитительные звуки. От этих звуков человеку стало так хорошо, словно он не ищет ответа на вопрос о шарике, а уже овладел им.

— Что это такое прозвучало? — спросил человек, утирая появившиеся слезы.

Люди с инструментами переглянулись, словно над ними только что хотели подшутить.

— Музыка, если вам не понятно, — с достоинством ответил один из них.

Человек поблагодарил музыкантов и покинул их улицу.

«Все эти люди точно, точно знают про шарик, — шептал сам себе человек. — Они только что говорили именно о нем при помощи своей музыки. И их музыка куда ближе к ответу на мой вопрос, чем все мои дорожные наблюдения».

На следующей улице стояла толпа людей. Один из них возвышался над остальными. Он размахивал руками и говорил простые понят-

ные слова. Но как эти слова глубоко проникали в душу!

«Да точно же! — чуть не закричал человек. — Это же слова прямо о моем светящемся шарике. Они почти раскрывают мне его смысл, они напоминают о нём, и только о нём, хотя и не говорят прямо о шарике ни слова!»

Потом на возвышение вставали другие люди и тоже говорили замечательные, мудрые слова. Толпа одобрительно шумела.

На очередной улице человек увидел устройства, при помощи которых создавались разные машины. Устройства сами закручивали винты, спаивали железные листы, прикрепляли к корпусу колёса и по специальной подвижной дорожке спускали готовую машину на землю. Там в неё садился пилот, и машина укатывала с огромной скоростью на своих колёсах. Человек наблюдал за работой устройства и думал: «Если бы моя жизнь могла быть подольше лет на пятьсот, то через пару сотен лет мои размышления о светящемся шарике привели бы меня именно к таким изобретениям. В этих изобретениях много общего с тем, что замечал я в самой природе, ища у неё ответа на свой вопрос».

Потом человек остановился у какого-то большого дома, стены которого были украшены причудливыми, разнообразными рельефами.

«И даже эти изображения на стенах! — не переставал он удивляться. — Даже они говорят мне только о шарике! О, как близок ответ! Кажется, здесь все такие же, как я, только намного, намного мудрее!»

— Что это за дом с чудесными изображениями на стенах? — спросил человек у какого-то прохожего.

— Как *что за дом*? Библиотека, чудак, — ответил прохожий.

Человек зашел в библиотеку. На стенах до самого потолка громоздились стеллажи с книгами. По стеллажам стелились лестницы с уютными площадками, на которых стояли столики для чтения. Никого не было в библиотеке, никто не охранял её. Из подпотолочных окон светили лучи, в лучах тихо пролетали светлые пылинки.

Человек принялся за книги. Несколько дней он, не переставая, читал. Его поражало мастерство, с которым авторы книг высказывали свои мысли о светящемся шарике, минуя само слово «шарик». Через небесные светила, через флору и фауну, через градостроительство, через музыку и живопись осторожно подступали авторы к вопросу о шарике. Но они доходили до той черты, где употребление слов «светящийся шарик» было бы уже неминуемо, и там их сочинения

прерывались. Тем не менее глубина их мыслей казалась человеку безмерной.

«Да, — качал он головой, — сам бы я этого никогда, никогда не узнал».

Наконец, глаза человека устали от букв. Он вышел на улицу и спросил у кого-то:

— Как мне найти жильё в вашем городе?

— Этим занимается охранитель храма, — был ответ, — иди к нему.

Человеку указали дорогу к храму, и он незамедлительно отправился туда.

Храм был огромным каменным кубом без окон, с одной лишь маленькой дверью. Рядом находился домик охранителя.

Пожилой охранитель принял посетителя спокойно. На вид этот старик ничем не отличался от любого другого горожанина, только был очень худ, словно чем-то смертельно болен.

— Вот номер Вашего жилья. Улицу Вам укажет любой. Так что добро пожаловать, — сказал охранитель и между прочим добавил: — Условия Вам известны.

— Какие условия? — нарочно спросил человек.

— Условия Вам известны, — значительно, с расстановкой повторил охранитель и без церемоний выпроводил человека за дверь.

Человек получил жильё на одной из улиц города и стал его полноправным жителем. Вскоре он познакомился со многими людьми. Все они, как ни странно, были коренными горожанами. Говорили, что в городе находятся еще люди со стороны, но человек их не встречал.

Беседовать с жителями было истинным удовольствием. Человек, еще на пути в город, беседовал с тысячей других людей, но все они не понимали его, потому что, по приказу тайного голоса, он должен был многое от них скрывать. Здешние же люди понимали человека вполне. Смущало его только одно: когда он смотрел на них особенно доверительно, стараясь взглядом сказать о том, о чём нельзя было говорить словами, люди отворачивались и старались поскорее уйти. Наверное, даже глазами они боялись выдать мысль о шарике.

Как-то человек спросил одного жителя:

— Почему храм, которым заправляет охранитель, ничем не украшен? Кто ходит туда? Кому там молятся?

Житель резко, почти с досадой отвернулся, потом оглянулся по сторонам и неприветливо, опасно произнес:

— Ты не местный. Тебе не надо знать. Больше не спрашивай.

Впредь этот житель избегал встречи с человеком.

Прошло довольно много времени. Человек совсем освоился в городе. То, что вначале казалось ему небывалым и восхитительным, теперь стало для него привычным. Он прочел почти все библиотечные книги, был в курсе всех городских событий, знал наизусть всю музыку, которую играли городские музыканты, знал, как работает каждое механическое устройство. Он сам научился складывать из слов чудесные речи, которые проходили в опасной близости от нарушения главного условия, но, тем не менее, выполняли его.

В городе человека, неизвестно отчего, немного побаивались. Поэтому настоящих друзей он не нашел и постепенно начал скучать. В его сердце поселилось глубокое сомнение.

«Вот я и изучил все их сложные науки и хитроумные искусства и понял, что всё это, конечно, своим появлением обязано шарикю. Всякое знание вышло из шарика, как росток из семени, и заветвилось. Но как бы ни разрослось это дерево, я остаюсь всё так же далек от истины. Если я буду и дальше молчать о шарике, если не вытащу его, наконец, из-за пазухи перед людьми, я не сдвинусь с места. Если эти люди знают истину, то почему они договорились о ней молчать? И наконец, какое наказание назначит неведомый голос тому, кто нарушит условие? И я — почему я всё это время подчинялся этому условию, когда так просто было его нарушить? Нет, я готов даже на самое страшное наказание, потому что я привык к движению, а теперь чувствую, что дальше двигаться некуда!»

Настал День Достижений — общегородской знаменательный день, отмечающийся раз в год. В этот день каждый человек, сделавший новое открытие, написавший книгу, создавший музыку, начертивший проект нового здания, мог обнародовать свой труд. Комиссия, в составе которой находился также охранитель храма, записывала число и характер достижений и вносила их в специальную Книгу достижений, которая велась с самых первых лет существования города.

На центральной площади устроили возвышение для выступающих. Система полых сосудов делала во много раз громче их голоса, а система огромных стекол могла увеличить мельчайший предмет в их руках до того, что он становился виден даже с самого дальнего конца площади.

В середине дня, когда выступили уже многие, на площадь пришел человек. Он сквозь толпу пробился к возвышению и попросил, чтобы ему дали слово.

— Люди! — начал человек. — Я тоже пришел поделиться своим открытием. Может быть, я и ошибаюсь, но думаю, что оно займет достойное место в Книге достижений. А главное, что это открытие не потребовало от меня никаких вычислений, оно является только движением моей воли. Однако оно действительно ново. Никто из вас, горожане, почему-то не додумался до этого за сотни лет существования города. Звучит открытие так: если знаешь истину — не прячь её, а если не знаешь — тогда не делай вид, что прячешь. А поэтому — вот перед вами мой светящийся шарик — тайна тайн!

Человек достал из-за пазухи свой светящийся шарик и завел руку за увеличительное стекло, чтобы вся толпа могла его увидеть.

На площади сразу установилась мертвая тишина. Охранитель, трясущийся и бледный, встал со своего кресла и показал пальцем на человека.

— Казнь! — простонал он. — Смертная казнь! Взять его! И пусть уберет, сейчас же уберет!

В толпе раздались сначала одинокие выкрики: «Казнь! Да, казнь!» Но постепенно вся толпа осмелела, и вскоре все в один голос закричали: «Казнь! Казнь!» — словно спасение людей теперь заключалось не в том, чтоб молчать, а, наоборот, в том, чтобы дружно кричать «казнь!».

Несколько людей в коричневых одеждах подошли к человеку и сказали ему, чтобы он сию же секунду следовал за ними. Его отвели в тюрьму, где он просидел до самой ночи, пока не загремела решетка и в каменную комнату его заключения не зашел охранитель. Охранитель убедился, что никто не сможет услышать предстоящего разговора, прошелся несколько раз взад и вперед по комнате и, наконец, сказал:

— Завтра Вас казнят. Вы, может, и не догадываетесь, почему это так. И я мог бы Вам не говорить об этом. Всё равно Вы в наших руках. Однако я ставлю себя на Ваше место (такая способность еще не утратилась во мне) и понимаю, что мне было бы очень страшно на этом Вашем месте. По крайней мере, я, сидя в этой каменной комнате и считая свои последние часы, очень желал бы увидеть кого-нибудь, кто вывел бы меня из неведения. Поэтому я к Вам и пришел. Но та же способность ставить себя на место другого говорит мне, что я на Вашем месте вообще не хотел бы умирать, и искал бы не знания, а спасения. Это я говорю к тому, что я принес Вам выбор. Он таков. — Казнь Ваша в любом случае состоялась бы закрыто, чтоб лишний раз не напоминать людям о сегодняшнем происшествии. Поэтому её можно будет больше не оглашать. Достаточно, того, что прозвучало сегодня, —

никто не усомнится в том, что Вас казнили. Если, конечно, люди больше не увидят Вас в городе. А для этого я предлагаю Вам бежать, и я лично готов Вам в этом помочь, если Вы изъявите желание. Это первое. В то же время, есть и другой вариант. Не знаю, стоит ли и предлагать Вам его. Сам себе удивляюсь. Итак, второй вариант: я, прямо сейчас, скажу Вам всё, что знаю об интересующем Вас вопросе, дам Вам непосредственное, так сказать, неприкрытое знание, знание, которым обладаю только я, да еще мой преемник, — но тогда Ваша казнь будет неминуема. Жить с этим знанием могут только двое — именно я и преемник. Так что выбирайте. Да, и ещё: перед тем, как Вы сделаете выбор, скажу Вам о качестве своего знания, чтобы Вы, в случае чего, заранее понимали, на что идете. Моё знание настолько полно, насколько оно вообще может быть полным. Прошу заметить, что это не последняя и совершенная истина, которую Вы, должно быть, ищете; это просто всё, что может знать человек о... будем говорить прямо — всё, что он может знать на этой земле о светящемся шарике.

Человек подумал и ответил:

— Я готов слушать.

— То есть готов завтра умереть? — уточнил охранитель.

— Да.

— Что ж, — усмехнулся охранитель удивленно, — тогда слушай, чудак. Но знай, что это делает приговор необратимым, даже если моё знание совсем разочарует тебя.

— Говори, — сказал человек.

И охранитель начал свой рассказ:

— Среди прочих библиотечных книг тебе наверняка попадалась в руки и такая: «История города с древнейших времен». Там, как ты помнишь, говорится, что основал его один человек. Этот человек придумал все наши науки и искусства и, умирая, передал их другим и так далее. Всё это, в целом, верно, но о главном, конечно, опять ни слова. На самом же деле было всё так. В одной отдаленной местности жил такой же, как ты, человек. Он был таким же пустым, каким в своё время был ты, и ни лес, ни звёзды, ни реки не рождали в нём ни единой мысли. Дом его был куб, где не на чем было остановить глаз, он только спасал человека от дождя, снега и ветра. Ты всё это должен знать. Ведь то же самое было и у тебя, не так ли? Так вот, так же загадочно, как и тебе, явился ему светящийся шарик, и тоже был голос, передавший единственную заповедь: «Никому не говори». И точно так же двинулся человек в путь, так же страдал всю жизнь оттого, что должен молчать, и оттого, что

тайна шарика остается неразрешимой. И таким же странным казался всем его взгляд. Из миллиона можно узнать человека, все мысли которого посвящены тому, о чем он должен молчать. Но человек перестал быть пустым. Лес, реки, звезды стали рождать в нем множество живых идей. Он нашел множество закономерностей в жизни птиц и зверей, в движении светил. Он попытался придумать другой, нечеловеческий язык, чтоб хотя бы на нём рассказывать миру о светящемся шарике. Этот язык он взял у самой природы, и в этом обрели свои начатки все наши науки и искусства.

Человек старел. Он устал от постоянного пути и остановился в местах нашего будущего города. У него была жена и был сын, который перенял и уже при жизни отца приумножил все его знания. Умирая, наш основатель подозвал к себе сына и сказал ему: «Я умираю. Поэтому мне нечего терять. Теперь я всё расскажу и покажу тебе, хоть и молчал об этом всю жизнь». Так сын узнал о шарике всё, что знал о нём отец.

Основатель умер. Загадочный шарик остался у его сына. На сыне, как ты понимаешь, уже не лежала обязанность молчать. Но сына уже не так интересовал этот удивительный предмет, как его отца. Его больше интересовали сами отцовские науки и искусства. Он даже не понимал, какая связь между этими науками и искусствами и шариком. Но что-то сильно пугало его в шарике. До сих пор не совсем понятно, что именно; и тем не менее, я почему-то вполне могу его понять. Я чувствовал бы то же самое. Не знаю почему. В общем, сын решил, что раз отец-основатель стал таким мудрым по причине молчания о шарике, то и развить и продолжить его мудрость можно лишь при помощи этого молчания. И надо внушить это молчание всем окружающим.

Ко времени зрелости сына в этих местах жило уже достаточно много людей, они сообща совершили несколько новых открытий на основе первых открытий отца-основателя, вместе обсуждали кое-какие вопросы искусств. Однажды сын собрал всех вместе и сказал: «Нам надо огораживаться стеной от остального мира. Я принес вам тайну. Эта тайна объединит нас всех, но и навсегда отделит нас от других. Итак, всё, чем мы обладаем на сегодняшний день, содержится в моём кармане. Я покажу вам это, скажу, как оно называется, и возьму с вас страшное, священное обещание: никогда не произносить ни слова об этом. Мало того, каждый, кто об этом обмолвится, да будет предан казни. Все, кто не готов дать клятву, пусть сей-

час же уходят из этих мест навсегда». Тогда многие дали клятву. На несколько мгновений людям был показан шарик. Затем сын убрал его обратно в карман.

Вот с этих пор стало узаконенным полное обособление наук и искусств от их первоисточника — светящегося шарика. Науки и искусства обрели в глазах каждого полноправную, самостоятельную ценность. Науки и искусства теперь надо было развивать и совершенствовать ради самих наук и искусств. Шарик служил лишь обязательной условностью.

Ко времени старости сына местность была уже небольшим укрепленным городом, городом для посвященных. Но население росло, приходили люди со стороны (тогда это было возможно), и всех надо было скорее посвящать в тайну. Тогда начал строиться наш храм. Ты заметил, какой у него строгий, почти бессмысленный вид. Это было так задумано для того, чтоб единожды входящий туда не имел никаких подсказок и намеков на что-либо. Тайна должна коснуться его и усвоиться, не оставив ни одного постороннего впечатления. В то же время храм, как видишь, очень велик, он больше всех остальных городских зданий. Это для того, чтоб каждый понимал важность посвящения. Со времен внука основателя каждый житель, достигший совершеннолетия, должен проходить посвящение. Я, как ты, наверное, понимаешь, являюсь потомком основателя.

Ты, скорее всего, хотел бы знать, что представляет собой посвящение? Что ж, я расскажу тебе и об этом. Всё очень просто.

Родители приводят своего совершеннолетнего ребенка к дверям храма, я принимаю ребенка у дверей, затем провожу по множеству темных, пустых коридоров и довожу до комнаты, тоже совершенно пустой и темной. В середине этой комнаты лежит тот самый светящийся шарик. Тогда я беру с ребенка четырехчастную клятву: первое — впредь молчать о том, что он сейчас видит; второе — всегда отдавать в руки правосудия любого, кто нарушит первую часть клятвы; третье — приводить каждого из своих будущих детей на посвящение в день совершеннолетия; четвертое — никогда не переступать границ города.

— И что? Это всё, что ты говоришь ребенку? — спросил человек у охранителя.

— Не совсем. Уже проводя ребенка обратно по коридорам, я веду с ним напутственную беседу. Я говорю: «Сын мой, до этого дня ты жил и видел вокруг себя множество людей, старших тебя. Теперь ты знаешь, что каждый из них, даже тогда, когда ты еще не догадывался об этом,

уже был посвященным, таким же, как ты сейчас. Наш город — лучший из городов. И это — заслуга посвящения, заслуга того, что все жители держат данную клятву. И...»

— И что же? — перебил человек. — Неужели посвященный не задает тебе никаких вопросов? Так много спорного!

— Это исключено. В храме можно только отвечать на *мои* вопросы. Таково условие.

— В таком случае я, уж позволь, задам тебе вопрос. Что даёт людям твоё так называемое «посвящение»? Оно ведь только налагает запрет — и не сообщает никакого знания. Зачем показывать людям шарик? Или зачем скрывать его? Зачем нужен храм?

— Знаешь, — сказал охранитель, — чем хороша история? Тем, что она равнодушна к неразрешимым вопросам. Она сама создает традиции, а традиции спланивают народ, укрепляют городские границы. И уже не важно то, что в самой основе, в самом древнем фундаменте этих традиций лежит не истина, а обман или вообще какая-нибудь пустота. Жизнь города держится на этом, значит, это уже не пустота. Город развивается, растет; новые достижения, изобретения — жизнь бьет ключом! — вот что главное.

Да, ещё история хороша тем, что она очень постепенна и совершенно неоспорима, хоть ты и думаешь о ней иначе. Вот ты сидишь сейчас и проклинаешь людей, которые «выдумали» и «навязали» всем это ненужное посвящение с его клятвами. А я на все твои проклятия отвечу: это не люди, это сама история логично подвела наш город к тому, чем он является сегодня. Мы, её орудия, просто осуществили то, чему и должно было произойти.

А то, что ты сделал вчера, с одной стороны, было очень вредно и опасно для людей. Они могли взволноваться. С другой же стороны, они убедились воочию в действии закона, еще раз увидели, что закон — не шутка, что он священен; они лишний раз сплотились друг с другом во имя осуществления правосудия. Помнишь, как дружно кричали они: «Казнь! Казнь!» Так что, верю и надеюсь, ничего страшного в городе не произойдет, и с завтрашнего же дня всё пойдет своим чередом...

Между прочим, у меня всё. Мой рассказ окончен. Скажи и ты что-нибудь. Доволен ли ты полученным знанием?

Человек довольно долго молчал. Наконец, он произнес:

— То, что ты сообщил мне, само по себе ничтожно, и, конечно, если б я с самого начала знал, что услышу от тебя что-нибудь в этом роде, я бы

малодушно согласился на побег. Ведь я только услышал историю о человеческом ничтожестве и ничего не узнал о самом шарике. Но выбор был сделан, и вот, выслушав твой рассказ и ещё раз осознав своё положение, я, кажется, получил кое-какое настоящее знание. Жаль, что у меня в связи со скорой казнью не будет времени развить это знание и когда-нибудь пробиться к истине. Но уже одно то, что я за это умру, успокаивает меня и делает весь мой прежний путь ненапряженным. Еще очень жаль, что я вчера ничего не доказал людям, и всё, действительно, «пойдет своим чередом». Но это уже, по всей видимости, неисправимо. Теперь скажи мне, ты, обманщик из рода обманщиков, происходящих из семени единственного достойного человека. Скажи: зачем тебе весь этот город с его фальшивыми науками и искусствами? Неужели ты любишь людей? Ты ведь умный, уж точно не глупее меня. Наверняка, ты втайне презираешь их и смеешься над ними.

— Люблю ли я людей? — переспросил охранитель. — Не знаю, дай подумать. Но, кажется, ты изначально ошибаешься, называя меня умным и думая, что я делаю своё дело, мудро выходящая над всеми. Я умён только с точки зрения нашего города, а не с твоей точки зрения. Я весь исчерпан этим городом, для меня нет другого мира. Так что ты переоцениваешь меня. А людей я не то чтобы люблю: «любить» — неудачное слово, да и возможно ли его употребление для такого города, как наш? Я просто один из них. Да, пожалуй, я опять воспользуюсь словом «история». История, мой друг, и только она распоряжается всем. Я занял предназначенное мне место — вот и всё.

— Но если ты не любишь людей, — спросил человек, — тогда какую цель ты преследуешь, приговаривая меня к казни? О чём ты так беспокоился на площади, показывая на меня дрожащим пальцем, больной старик?

— Я не хочу продолжать этот разговор, — ответил, помедлив, охранитель. — И так уже рассказ отнял у меня много сил. Я сам не привык произносить священных, запретных слов так запросто, вне храма. Всегда, когда долго говоришь или думаешь о шарике, наступает какое-то опустошение... Ладно, точка. Завтра утром тебе принесут яд, твоя смерть будет безболезненной. А сейчас постарайся уснуть. Я бы на твоём месте просто хотел бы уснуть, раз уж нельзя ничего изменить. Прощай.

Охранитель ушел. Человек остался в темной каменной комнате ожидать своей смерти. Он достал из-за пазухи светящийся шарик и снова смотрел на него.

СМЕРТНОЕ

Рассказ

РАЗ ПОД НОЧНЫМ осенним дождем я стоял, обнимаясь и целуясь с девушкой. Я был пьян до одури, и от этой ночи в мою дальнейшую жизнь унес я немного: смутную память о её чудных, не пьяных, но пьянящих глазах, запах её шейного платка и волос — и моё утреннее раскаяние и желание отказаться от вчерашнего дня. Дело в том, что обнялись мы крепко, даром что знали друг друга мало, и, возможно (что-то такое я помнил с утра), своим животом девушка чувствовала, как пульсирует в моих брюках мышца плотского вожделения; я же, пьяный, не чувствовал в этом ничего неудобного. Простившись с девушкой и придя домой, я залез в ванную и там тоже согрешил. Недаром говорят, что согрешивший пьянством согрешит и во всем остальном. Когда грех был совершен, я вышел из ванной и тупо, пусто полез спать, чтобы не начать ничего анализировать — всё это проанализировано уже давно...

Утром я заключил, что вчера в очередной раз выходил из клетки мой зверь, и всё произошедшее произошло лишь потому, что я эту клетку вовремя не запер. Это была моя единственная вина — дальше уже делал не я, а зверь. И оттого, что отшибло память, я еще больше убеждался: это был не я; не я тянул к девушке свои губы, не я говорил ей, что мне никогда не было так хорошо, как сейчас. Только стыд почему-то был мой.

Весь день я провел в дрожащем, шатком состоянии, уверенный, что именно сегодня на меня упадет кирпич; что если Господь и давал мне шансы войти в число избранных, то именно сегодня буду я вычеркнут из этого числа. Я уже говорил, что память отшибло; так вот, чтобы не вспомнить чего-то еще более страшного и постыдного, что мог я натворить вчера, я бурчал себе под нос совершенную рыбу, то есть нелепый, бессмысленный набор слов — лишь бы не вспоминать, лишь бы затереть, заглушить, отогнать от себя вчерашний день. «Ой, ты гули мои гули, ай ды ой... — говорил я, сморщивая лицо и хватаясь за волосы. — Ой, ты та ли, та ли то... Да, конечно вы правы, но... Так, спокойно, спокойно, тихо, ребята, тихо... Я Вам пишу, чего же боле...» и т. д. Может быть, эти несвязные слова заменяли мне нужные сто грамм, на которые я боялся пойти, чтоб не разогнаться и не продолжить вчерашний день.

Проживая так своё сегодня, я забывал об одном: сегодня должна быть усыплена моя собака.

И вот когда пришел я домой и увидел, что одеяло, служившее ей подстилкой, исчезло, я понял, что родные увезли её, и обо всём вспомнил...

Я вспомнил, как однажды, во время одного из обострений её возрастной болезни, она бессмысленно уставилась на меня своей мордой, бесформенной от скатавшейся колтунами шерсти. В этом комке шерсти было только два отверстия, их выстригли для глаз. Обреченная, старая тупость, с которой глядела на меня собака, тут же исторгла из меня слезы, но, увидев, что я заплакал, животное, несмотря на свой маразм, встало и слепо подошло ко мне, чтобы поддержать меня и успокоить. Так уж выходило, что смердящее это существо, которому наотрез отказано в бессмертии души, являло собой пример христианского самозабвения... Но собака только опечалила меня, а не поддержала. Человек — тот психолог, тот найдет лазейку, чтоб успокоить другого. А эта — просто подставила спину: «на, погладь меня и дай мне понять, что ничего необычного не происходит, что всё так, как я привыкла». Это и печалит, и умиляет в смертных тварях: их постоянство, их честная предсказуемость.

Тогда я схватил листок и нацарапал на нем то, что видел и о чем плакал:

«Стареет моя собака; глаза в один день почти целиком уехали куда-то вовнутрь, осталось в веках красное, до слез раздражающее душу. Смотрит и просит ласки, а раньше просила еды и погулять. Собака, я ненавижу смерть, и пока не смогу её убить в своём сердце, я не скажу, что жизнь прекрасна».

А собака стояла, понуро, как есенинская колова, и, казалось, уже забыла, зачем подошла ко мне. Красная мякоть в её веках скрывала её глаза, когда-то черно-карие и подвижные, как два жучка, и веки медленно смыкались и размыкались. В этой неторопливости могло быть что-то мудрое, степенное, примиряющее с жестокими законами бытия, но я видел в этом лишь незаслуженную, горькую победу смерти.

Однако до смерти было еще далековато: прошло несколько дней, глаза собаки немного выплыли наружу, и, хотя они гноились и залипали шерстью, мы подумали, что, в общем-то, животное очухалось...

Потом я вспомнил, как в нашей квартире появилась кошка — властный, эгоистичный комок; я вспомнил, как этот полугодовалый комок живо установил тиранию над пятнадцатилетней собакой, которая, казалось бы, могла на правах старожилы просто расправиться с выскочкой, даже не подвергнув себя общественному суду.

Но собака терпела. Кошка прогоняла собаку отовсюду, где бы та ни лежала. Кошка вцеплялась в собакину волосатую морду, а собака неторопливо, как та же корова под тяжестью рогов, отводила от царапаний морду и, с трудом поднявшись, выпятив худые лопатки, брела в другой угол. Прошла неделя, и собака уже иногда уставала от серого комка и тихо погавкивала на него. В эти секунды я чувствовал в ней какую-то злую, еще прежнюю привычку жить, и это по-военному радовало меня: шевелится, ведет потихоньку свою борьбу, отстаивает права. Но то были лишь редкие всплески воли: наверное, собака понимала, что раз комок при всей его наглости не подвергается наказаниям, раз его терпят и даже ласково берут на руки, значит, он здесь по святой хозяйской прихоти и его надо терпеть.

Но непобедимое ни чем собачье смирение покорило, наконец, и властную кошку. Не совершая никаких действий, а просто распластавшись по-мертвецки на своей подстилке, старая собака учила кошку быть такой, какими мечтали быть хозяева, то есть терпеть, отвечать лаской на ласку и понимать другого. Вскоре кошкины игры стали не таким злыми, а тело собаки стало её маленькой спальней. Кошка ложилась меж передних и задних собачьих лап и прижималась своей серой спинкой к её животу. А собака, когда почмокивала во сне пастью, словно говорила спокойным, старушечьим голосом Платона Каратаева: «Ну, вот и славно. Перетерпи, перемолчи зло, и оно тебе само добром выйdet. Вот уж и котенок маленький сам ко мне привалился — и ему хорошо, и мне ничего». Потом собака, не церемонясь с кошкой, вставала, чтобы похлебать на кухне воды, а кошка потягивалась, зевала и быстро догоняла собаку, игриво прицеплялась к её задним лапам и старалась влезть в собачью миску раньше самой собаки...

Также я вспомнил, что собаку еще в щеночестве сбила машина, и ей нельзя было рожать. И теперь, в общей каше, намешанной людьми в их квартире, как в ковчеге, не благословлённом Господом, — в этой общей неестественной каше животные постарались восстановить свою лесную, природную истину. Правда, получилось у них это болезненно, надломленно, даже как-то блокадно; но им хватало и того. Кошка пристраивалась к собачьему соску и пыталась сосать из него молоко, которого нет. Она мяла лапками вымя и от усилия и веры становилась теплой и сама пахла молоком. И когда, глядя на двух тварей, соединившихся во взаимном неблагополучии, хотелось сказать: «Перестаньте вы, дурные», — твари словно отвечали: «Не мешайте

нам. Мы теперь вместе. Мы ничего не понимаем; мы не знаем, за что нам такая жизнь, откуда она и какая должна была быть. Так дайте нам хотя бы то, в необходимости чего мы уверены». Кошка оживляла еще свежую память своего кошачьего младенчества, из которого её забрали, а собака не сопротивлялась этому, смутно угадывая и утоляя своё несбывшееся материнство...

Я вспомнил, как однажды собака убежала куда-то в осенний дым, потому что потеряла хозяйина, почти не имея уже ни слуха, ни зрения. И где-то там, у мусорного бака, на неё, глухую, слепую, тихо залез какой-то дворовый пес, не погнушавшийся её старостью. Так, в свои пятнадцать лет, вместе с запоздалым материнством, собака познала и любовную ласку: так же ненужно, бесплодно, не ко времени...

Наконец, я вспомнил, как двухнедельная беременность стала давить на собачье нутро, и у неё началось недержание. Но если у собак и бывает время, когда им еще не *всё* равно, то моей собаке было уже *всё* равно: и то, что её начали ненавидеть за повсеместные лужи и кучи, и то, что обсуждали её усыпление, и то, что замахивались на неё тряпкой с пожеланием скорее сдохнуть. На эти замахы она отвечала только привычной дрожью в задних лапах, прижатых к задку обрубочком хвоста и трепыхающимися, как бабочки в паутине, веками в ожидании удара. Она залезала куда-нибудь, где еще не помочилась, чтобы улечься там в сухости и темноте, но, сама не замечая того, мочилась и там. Тогда её стали гнать отовсюду, и она возвращалась на своё место; ночью она опять мочилась на это место и, безрезультатно потыкавшись в закрытые двери, опять возвращалась и спала в сырости.

И вот настал этот день, и, когда собака стояла у миски, отыскивая там среди нелюбимого сухого корма несуществующую косточку, от которой остался только запах, хозяева позвали её на улицу, а на улице, дав облегчиться на траву, позвали в машину. Она всегда безбоязненно заходила в те двери, которые перед ней открывали хозяева, и теперь так же запрыгнула в машину и стала, сама не понимая того, её пассажиром. Хозяева повезли её в лечебницу. Я не хочу вызывать из себя слезы, словно рвоту двумя пальцами, и представлять, как смотрели собачьи глаза через стекло отъезжающей машины, как вела она себя в самой машине, как ничего не понимала, но медленно и слепо приближалась к тому, что уготовали ей люди. Мне не надо этого, я не видел этого и не желаю это придумывать...

Теперь, увидев, что подстилки нет, я прошел на кухню: на полу стояла миска, где еще находи-

лась еда. Это была специальная собачья еда, коричневые гофрированные ломтики из большой упаковки, на которой изображалась радостная, бессмертная овчарка. И вот, глядя на эти ломтики, я и заплакал. Кошка ходила такая, как всегда, но какая-то моя, личная вина наделяла и эту зверушку в моих глазах высоким пониманием. Кошка, как всегда, просила рыбы, и однообразно, безмозгло плакала, разевая передо мной свою маленькую розовую пасть. И в этом писке, которому чувство моей вины придумало свой смысл, я услышал: «Ты убил собаку, но я не могу объявлять голодовок. Дай мне поесть. Я не жалею тебя, не обижаюсь, потому что ничего не понимаю, но я просто хочу есть. Этой же рукой ты можешь приговорить и меня, я теперь знаю, чую это; всё в твоей власти. А пока дай мне еды, человек, и я всегда буду ласкаться к тебе, несмотря на то, что ты убил собаку и мне больше не сосать её вымени».

К финалу этого смутного, холодного дня, после тяжелого, молчаливого ужина, во мне вдруг выросло ужасное понимание, что моя собака — это что-то такое, чего уже просто нет, и нет — без права на надежды и даже без необходимости эпитафий, красивых или простых. Нет — и точка. Даже выпивать за неё, как за невинно убиенную, было без толку. Но это понимание её небытия никак не хотело во мне клеиться с тем теплом, которое оставило в душе моей волосатое бесформенное существо — моя собака. И оттого, что запоздалые цветы моей любви никогда не смогут теперь добраться до моей, *три часа как*, но уже *навсегда* мертвой собаки; оттого, что она не может, как в мультике, воспарить над грешной землей и утолить своим бессмертием детские слезы; наконец, оттого, что сама собака не успела даже разочароваться в людях и не «покатились глаза собачьи золотыми звездами в снег» — от этого мне страшно захотелось что-то совершить с самим собой, со своим сегодняшним днем. И вскоре я понял, нащупал, *что* я хочу.

Я стоял в подъезде, на лестничной клетке, курил и слышал, как сильнейший ветер, бесчувственный, тупой, издевается над стеклом окошка, как грозит он выбить это окошко в подъезд. Ветру было плевать, кто от него спасётся, а кто подхватит воспаление, кому нравится его слушать, а кому — нет: он просто мертво и беспощадно дул — дул, потому что дул. И я решил выйти на этот мертвый ветер, чтобы тоже плевать на него. Я накинул куртку, выскочил из дома и без шапки пошел на железнодорожный вокзал. Там я сел на электричку, одну из последних, и уехал в соседний город. Я уехал к ней,

к той девушке, к которой вчера лез своими пьяными губами, а утром думал, что это лез не я, а зверь; все во мне сейчас тянулось к девушке, всё во мне стремилось оживить, сделать осязаемым смутное воспоминание вчерашнего дня. Не знаю, почему так. Может быть, я хотел оправдать того самого зверя, которого еще утром так мечтал в себе убить.

Я позвонил в дверь. Девушка открыла мне дверь, и я, увидев её, снова убедился, что не ошибся, что нужна мне именно она. Я попросил её пойти со мной на улицу, и благодарен, очень благодарен ей, что она не махнула рукой на тревогу в моих глазах, не испугалась этих потерянных глаз и пошла за мной в такой темный час, в такую холодную, тоскливую и сырую непогоду.

Мы отошли от дома не далеко. Я увидел, что слева от дороги начинаются и уходят в бесконечный осенний мрак деревья. Там были темнота и одиночество.

— Пойдем в деревья, — попросил я, и мы вошли в темноту и прислонились к одному дереву: кажется, к клёну.

Изо всех сил я сразу же обнял, сжал девушку, стиснул, как горсть родной земли, в руке её волосы и без спросу стал целовать её. Я очень хотел, чтобы она, моя любимая девушка, знала, что ни о чем вчерашнем я не жалею и ни в чем не раскаиваюсь, что не прошу я от неё никакого ума и понимания, что честные её губы — всё, с чем я согласен, всё, что мне нужно...

Я до острой боли в сердце почувствовал, что немая собачья смерть только тогда будет справедлива с моей стороны, когда и мне будет отказано в бессмертии, когда и я соглашусь уйти из жизни так же, как она, — немо и навсегда; когда и я соглашусь повторить её слепой подвиг. И тогда я взял мою милую за плечи и на секунду отнял её от себя, чтобы вновь рассмотреть и навсегда отпечатать в памяти её лицо: тот самый взгляд, который еще утром я хотел забыть, как бред, и малодушно признавал обманом, — этот взгляд смотрел на меня, полный жизни, молодости и неожиданной преданности; тот же запах волос и шейного платка касался меня, несмотря на бесчувственный и беспощадный ветер, который стремился унести от меня этот запах. И — что я мог еще сделать? — я только сильнее обнял мою любимую и еще, еще отчаяннее прижался к её губам. Что мог я еще сделать? Что?

Любовь для меня перестала быть цветком, она лишилась всякого неземного источника и стала простой частью моего тела, которая умрет вместе со мной. Сердце мое, чувствуя это, стучало больно, больнично, предсмертно, как в ре-

нимации, — но я чувствовал, что пока число умеренных ему ударов сокращается, пока оно теряет силы и умирает, оно живет...

Какая-то старая, затертая до дыр художественная формула подсказывает мне, как могу я закончить. Я могу закончить на том, что в искренности моих объятий и поцелуев, в отчаянии моих глаз как бы, едва уловимо, метафорически и метафизически, оживала моя собака. К сожалению, а может и не к сожалению, я не могу так сказать. Ничего такого в ту ночь я почувствовать не сумел.

Таня

Рассказ

В НАШЕЙ ГОРОДСКОЙ больнице травматология и нейрохирургия располагались в одном крыле. Нас в палате лежало шестеро. Ни одного больного с переломанной рукой, который мог бы передвигаться и хоть как-нибудь помогал бы остальным лежачим, к нам опрометчиво не подселили. У тех из нас, у кого была сломана рука, была сломана также нога или спина. Когда мы сказали об этом врачу и попросили в палату кого-нибудь ходячего, врач махнул на нас. Таким образом, в палате царила совершенная неподвижность. Единственным развлечением для тела, и то не для каждого, были горизонтальные шесты над койками, на них можно было подтягиваться. Да и то, из-за этих шестов мы не могли нормально глядеть в потолок.

Не описываю свои больничные будни — ясно, что приятного здесь было немного. Пятка, прошитая спицей, подвязанные гири на тянущей пружине, гадкий, спертый воздух, то ли наполненный всеобщей тоской, то ли являющийся её причиной.

Но появилась Таня.

Однажды ночью к нам в палату привезли её отца с забинтованной головой. Отец был совсем плох. В результате травмы у него отнялись ноги, он потерял дар речи, и, хотя глаза его были открыты, вряд ли он что-нибудь понимал. Но Таня всегда разговаривала с ним. Не умолкая, она говорила, говорила: «Папа, папочка, давай, вот так, молодец...» Она пропитывала салфетку розовой водой, с усилием поворачивала отца набок, чтобы протереть ему спину, и опять говорила: «Ну вот, молодец», — словно отец повернулся сам.

Прошло около недели с той ночи, когда он поступил в больницу. Моя нога никак не хотела

срастаться, состояние Таниного отца тоже оставалось прежним. Но сама Таня стала более общительной. Мы, лежачие все до одного, помня о её несчастье, сначала стеснялись попросить её о чем-нибудь: например, принести глазированный сырок из холодильника или вызвать медсестру. Но Таня сама стала помогать нам, она уже иногда улыбалась и своим видом и словами поддерживала в нас веру в наше скорое выздоровление. Мне очень нравилась её взрослая, такая серьезная общительность; это так не вязалось с её молодым возрастом: Тане было не больше двадцати лет (мне было восемнадцать).

Таня была очень милая, очень стройная девушка. Мой сосед по койке, шофер с переломанной ногой, большой мастер в кроссвордах, разумно, хотя и со свойственным ему преувеличением, отмечал: «Ей место на подиуме. Это я вам точно говорю. С такой внешностью — вон где! — в телевизоре ей надо быть».

И эта стройная и милая девушка практически стала для нас медсестрой, а медсестра — это всегда *старшая* сестра, даже если тебе восемьдесят лет, а ей двадцать. Поэтому все мы очень уважали Таню, как младшие.

Танин отец не мог жевать пищу, он питался в основном через капельницу. Но Таня стала приносить из дома что-нибудь вкусное для нас. И хотя у нас и так всего хватало благодаря родным, получить от Тани яблочко, печенье, кусочек пирога было для нас всё равно, что получить чудесное лекарство, вдвое ускоряющее выздоровление. Все, кто лежал в нашей палате, независимо от того, говорили об этом вслух или нет, все до одного ожидали Таниного прихода, как маленького праздника, как единственного развлечения в нашей тоске и скуке.

У каждого была своя Таня. Кому-то она навевала воспоминания о собственной жене, когда-то такой же молодой и красивой; кто-то в связи с Таней говорил о своих детях, как бы говоря: «Вот видели сейчас Таню? У меня что-то в этом же духе. Просто они работают и не могут часто приходиться». Кто-то, говоря о Тане, жалел, что сам уже не молод, а потом материл случай, приведший его в «эту чертову больницу». Я же видел в Тане только её саму. Мне не с чем было её сравнивать.

Я был самый молодой в палате, и, когда Тани не было рядом, мужики в шутку, от нечего делать, женили меня на ней: «Ты смотри: девка-то — цветок! Красавица, внимательная, добрая, чуткая, хозяйственная! Что ушами-то хлопаешь? Действуй!.. Больной? — ну и что *больной*? Как раз сыграй на жалость». И когда мужики увлеченно загибали пальцы на согнутых в локте

руках, перечисляя Танины достоинства, я особенно сильно чувствовал, что ноги у нас у всех не ходят. Еще неприятный оттенок этим разговорам придавало то, что рядом с нами в это время неподвижно лежал Танин отец, человек, произведший Таню на свет и, кажется, её единственный близкий.

Важную роль в моих отношениях с Таней, как это ни низко прозвучит, сыграло больничное судно. Вообще, это тема скользкая, писать об этом будет неудобно, но почему-то это необходимо.

Понятно, почему санитарями, нянечками, как мы их называли, в нашу больницу устраивались в основном пожилые пьющие женщины. Ни ты их не стесняешься, ни они тебя. Тебе некуда деваться, а им нечего терять.

Но наши нянечки неохотно передвигались по коридору и тихо избегали деятельности. В принципе их и тут можно было понять: самая неприятная работа — за самые жалкие деньги. Лучше уж получать эти деньги, ничего не делая. Лично мне стыдно было кричать из палаты в коридор, вызывая нянечку, а потом просить: «Тётъ Маш... вынеси, пожалуйста... я тут это...» И нет, да и протянешь ей то апельсин, то банан, то яблоко, когда она вернется в палату и с грохотом задвинет под твою кровать чистое судно.

С нами, например, лежал дедушка с переломом позвоночника. Нижняя часть тела у него отнялась, и он, сам того не замечая, все время ходил под себя. Ему надо было постоянно менять подгузники. Сын его не мог приезжать часто, поэтому разменял несколько сот рублей на червонцы и положил отцу в тумбочку. Эти деньги предназначались именно для нянечек, тети Маши и тети Гали, чтобы те исправно выполняли свою работу. Как-то дедушка вызвал тетю Машу из коридора и попросил поменять подгузник. Тетя Маша неохотно принялась за дело. Когда она наклонилась над дедушкой, тот дрожащей рукой с зажатым червонцем стал нащупывать карман её халата. Тетя Маша, заметив это боковым зрением, как бы в ходе самой работы придвинулась к деду и почти насадила свой карман на его руку, чтобы получилось наверняка. Закончив уже не так неохотно, как начала, тетя Маша провела пальцами по липучке подгузника и похлопала по нему, как по усердно упакованной посылке: «Лежи, дед, лежи, мой хороший». Потом то же самое дедушка проделал и с тетей Галей. Та и прежде выполняла работу не так вяло, как Маша, — видимо, от большей безысходности и безразличия к жизни. Но поэтому впоследствии дед и не так часто потчевал её червонцем.

Нянечки стали сами заглядывать в палату и предлагать деду помощь. Они без доли брезгливости засовывали руку в его подгузник и проверяли, сухо ли там. Мужики шутили: «Смотри, дед, щас у тебя ванька сработает». А тетя Галя, вечно побитая, простуженная, готовая выпить и заплакать, ласково хрипела: «Конечно. Всё у него еще сработает. Правда, мой хороший? Вот так вот. Лежи, всё у тебя сухенько», — застегивала липучку и накрывала деда одеялом.

В своем бесконечном великодушии Таня тоже предлагала деду помощь (конечно, бесплатную), но дед шепелявил своим сморщенным ртом, выставляя вперед ладонь: «Нет, шпасибо, у меня тут швои люди есть». Однажды Таня спросила у всех нас: «Кому надо вынести?» Мы, естественно, промолчали. «В таком случае, извините, мужчины: почему стоит такой запах? Нет уж, давайте не стесняйтесь, — сказала она, — нечего стесняться. Я отнесу, ничего тут нет особенного».

Так она стала выносить за мужиками. Я понимал, что когда-нибудь это коснется и меня. Таня по-женски уже волновала меня, и я не мог такого допустить. Я старался терпеть целый день и делать своё грязное, неудобное дело ночью. Но ночью нянечки иногда могли не прийти, и что же: всей палате дышать гадостью до утра?

Однажды я не вытерпел и сделал это днем, выбрав время, когда Таня ненадолго отлучилась. Накрыл судно газетой и стал звать тетю Машу. Но тетя Маша не пришла, и как раз вернулась Таня. Я решил молчать. Но Таня заметила, что моё судно накрыто газетой, и подошла к моей кровати, чтобы взять его. Я покраснел и залепетал: «Нет, нет, Таня, не надо, даже не думай! Сейчас тетя Маша придет; прошу тебя, оставь». Я с ужасом представил, как это прекрасное, волнующее меня существо ознакомится с моей отвратительной внутренней тайной... Боже мой!..

Но Таня сказала: «Ну что за глупости? Это больница — что тут такого? Что ж вам, лежать всем в этом смраде?» Взяла судно и унесла его.

Я, вот уж действительно, не знал, куда себя деть от стыда. Я даже зрительно вспомнил то, что находилось у меня в судне: Таня вот-вот должна была это увидеть. Мне казалось, что теперь я перед ней не способен ни на какое прекрасное проявление. Мужики, видя моё расстройство, подбадривали меня: «Да не переживай ты. Это ж жизнь». Один даже сказал: «Сам бы что, за ней не вынес, что ли, если б ей худо было?»

Таня принесла судно. Мне стоило немалого труда сказать ей за это «спасибо».

Так повторилось еще пару раз, и каждый раз, когда Таня подходила за *этим*, я краснел, переминался на кровати и что-то мямлил. Я проклинал про себя условия больницы, где такая нелепость оказывалась возможной. Но прошло еще некоторое время, и я стал думать о другом.

Я думал: «Если она так хладнокровно выносит за мной, то, значит, я для неё, в известном смысле, то же самое, что и дедушка с подгузниками». Это уже не смущало, а просто огорчало меня. Теперь я проклинал уже не больницу, а злосчастную судьбу, которая свела меня с прекрасной Таней именно в то время, когда я так убог, жалок, неподвижен. К своему телу я стал испытывать особое омерзение. Хилая грудь, совсем не широкие плечи, ноги, похудевшие от неподвижности, невымытые волосы — не испытывать перед этим никакого женского волнения было бы вполне справедливо с Таниной стороны. Я признавал, что шансов у меня мало, но не мог смириться с этим; я признавал, что в своём теперешнем виде я крайне непривлекателен, но желание изнутри было сильнее взгляда со стороны. Я решил что-нибудь предпринять, чтобы сблизиться с Таней.

Однажды Таня, как обычно, просидела весь день над отцом, и вечером, когда ей уже надо было собираться уходить, а все наши засыпали, я тихо попросил её:

— Тань, дядя Саша уже спит, возьми, пожалуйста, у него из банки кипятильник, принеси мне.

И добавил:

— И, если можно, посиди рядом, попей тоже чаю. У меня есть рулет.

Я думал, что меня никто не слышит, но экскаваторщик дядя Костя в шейном корсете, бережно взбивая подушку, заметил из своего угла:

— Во, давно бы так, — и при помощи металлического шеста медленно опустил тело на койку.

Я смутился. Но Таня улыбнулась и сделала всё, как я попросил.

Она села на край моей кровати и стала заваривать чай. Я не знал, как и о чем заговорить с ней. Мне хотелось быть рядом с ней, не задавая глупых вопросов, не болтая чепухи. Я думал сначала завести разговор о её отце, но не стал: это было бы неискренне. Потом хотел спросить, где она учится или кем работает, но тоже не стал: это было бы слишком обыденно. Потом хотел заговорить о себе: но это было бы невежливо. Наконец, решил просто сказать, что вода в больнице отдает хлоркой, — и тоже не стал: это свидетельствовало бы о том, что я пустой человек. Таня пила чай, аккуратно держа двумя

пальцами круглый кусочек рулета, и я замечал, что она иногда смотрит на меня. Таким образом, она видела лицо человека, который не думает о чем-то настоящем, а только ищет и никак не найдет, о чем бы заговорить. Что можно было найти хорошего в таком лице? Но наконец, и я посмотрел на Таню. И тогда я перестал заниматься неприятным поиском темы для разговора. Мне стало легче, и между мной и Таней возникла простая молчаливая искренность. Мы едва заметно обменялись улыбками. «Спасибо, Таня», — сказал я. Не знаю, от души или нет.

Потом в палату заглянула дежурная медсестра и сказала, что Тане пора уходить. Тогда она тихонько, чтоб никто не увидел и не услышал, наклонилась надо мной и поцеловала в щеку, а потом сказала шепотом: «Спасибо за чай. Выздоровлявай, больной!». Она встала, быстро подошла к отцу, погладила его голову, постояла над ним немного и ушла.

Всё дрожало у меня внутри от радости и внезапно родившегося предвкушения чего-то еще большего, на что давало мне надежду будущее. «Она меня поцеловала! Сама поцеловала! Значит, это возможно, возможно!..» — думал я и боялся думать дальше, чтобы не спугнуть надежду. Я не спал полночи и всё представлял, заново переживал в памяти Танин поцелуй. В эту ночь я был совершенно благополучен, мне было совсем нескучно в тишине темной палаты, наедине с этим поцелуем, как с самым интересным собеседником. Я был похож на человека, который не может нарадоваться драгоценному приобретению и всё вертит, вертит его, не уставая, в своих руках.

И так много думал я об этом поцелуе, и настолько выросло для меня за ночь его значение, что на следующий день мне было даже неловко смотреть Тане в глаза, словно между нами вчера произошло что-то большее.

Мне также было немного стыдно, что у Тани так болен отец, а я совсем не сочувствую ей. Я думал только о себе и нагло пользовался тем, что Таня еще как-то умудряется быть общительной и улыбчивой. Сейчас вся она, целиком, должна была быть исключительно дочерью своего отца; но для меня она должна была быть исключительно женщиной, моей Таней.

В моих размышлениях и неразрешенных переживаниях, в скучных разговорах мужиков, в Таниных заботах об отце закатился очередной день, и снова пришел вечер. Я переминался на кровати и иногда бессмысленно брался рукой за шест. Время посещения кончалось, наши почему-то в этот раз никак не укладывались, и я понимал, что не могу опять начать «с чая». Это

было бы совсем пошло: мол, давай, как вчера, начнем с чая, а потом опять, опять что-нибудь такое, как вчера, только теперь, например, с развитием — например, уже не в щечку, а в губки. Это было исключено. К тому же я опять, как какое-нибудь беспомощное насекомое, обделался в своё судно, накрыл его газетой, а Таня опять понесла эту вонь. «Теперь она точно поймёт, насколько я мерзок, и никогда больше не поцелует меня», — боялся я.

Таню уже попросили собираться. Она сказала, что только протрет отца розовой водой и уйдет.

Когда она сидела над отцом, я глядел на её руки с засученными рукавами черной водолазки и сомневался: может быть, в её вчерашнем поцелуе было только снисхождение — и никакого, даже самого маленького, чувства? Настолько Таня, казалось, была сейчас далека от мысли обо мне.

Но, уходя, она восстановила во мне надежду. Она намочила салфетку розовой водой, быстро, в два шага подошла ко мне, шутливо провела салфеткой по моему лбу и положила её мне на грудь, чтоб я протирался сам. Потом несколько секунд она смотрела на меня, наклонив голову вбок. Волосы её чудно свесились на одну сторону. «Ты такой хороший, смешной», — сказала Таня. На прощанье она показала мне ладонь и, улыбнувшись, пошевелила пальцами. «До завтра», — сказала она мне. Эти слова услышал только я. И улыбку увидел только я.

Итак, я снова надеялся на то, что я, хилый, неподвижный человек с выставленной вперед помертвевшей ступней, безразличен прекрасной Тане. Ночью, в темноте, я не выдержал и предался мечтаниям. Я воображал себя здоровым, сильным и привлекательным мужчиной, мы с Таней знакомились в каком-то многолюдном месте, обменивались взглядами, проникались взаимной страстью, потом находили уединение и... о том, что происходило дальше, писать было бы еще неприятнее, чем о больничном судне.

Когда я устал от бесплодности и недостаточности этих мечтаний и, пресытившись ими, начал от нечего делать осуждать себя за них, я вдруг услышал скрежет зубов и клекот, идущий из чьего-то горла.

Звуки эти издавал Танин отец. Они были ритмичны, словно происходили от пульсации крови. Отцу становилось хуже. Он начал коротко и сильно стучать сжатыми кулаками по койке. Я разбудил мужиков, мы вызвали медсестру. Заспанная медсестра сделала больному сильный укол, через пятнадцать минут он притих.

Я нехотя вспомнил, о чем перед этим мечтал. Те плоть и кровь, с которыми я «прелюбодействовал в сердце своем», были от плоти и крови этого человека, бессознательно бившегося за жизнь. Мне стало не по себе, и я поспешил уснуть.

Когда я проснулся, ещё не совсем рассвело. Танин отец, с безвольным, каким-то не своим постоянством продолжал стучать руками по койке, словно это не прекращалось всю ночь. Медсестра и тётя Галя привязывали к бокам его кровати два борта — две деревянные доски, — чтобы он не вывалился. Доски были не какие-нибудь специальные медицинские, а самые простые: на них были заусенцы, сучки и кое-где даже кора. Такие доски часто возят на вагонах товарных поездов. Также привязали к койке и руки отца, чтобы он не делал резких движений и не причинил вреда самому себе. Я обратил внимание на его руки. Необычно было наблюдать за тем, как человеческие руки, способные на выражение живых эмоций, несущие в себе отпечаток человеческой природы, его характера, души, — как они сжимаются в кулак и расслабляются, не содержа в себе никакого сознания. Истинный Танин отец теперь находился где-то далеко, одному Богу известно где; он бился в заточении и никак не мог вырваться наружу. На койке лежало только его тело.

Лицо больного я видел не слишком хорошо и был этому рад. Я почему-то боялся убедиться в его родственном сходстве с Таней, а главное, боялся увидеть его глаза и вдруг разглядеть в них присутствующий смысл, обращенный ко мне. Мне казалось, что эти глаза тут же разоблачили бы меня со всеми моими грязными мыслями.

Таня, конечно, не ожидала, что, зайдя в палату, обнаружит отца связанным и зажатым досками. Но, вздохнув, она продолжила свою обычную заботу о нём, даже не изменившись в лице, как будто с отцом тоже не произошло никаких новых изменений. В тот же день Таня получила от врача разрешение оставаться на ночь в больнице, рядом с родственником. Когда она ненадолго отлучилась домой за некоторыми вещами, мужики серьезно переговаривались: «Во терпит девка. Не хуже мужика. Бедненькая».

А отцу становилось всё хуже. Его обмотанную голову поводило в сторону и назад. Это напоминало заедающую в проигрывателе пластинку. Страшно было видеть человека в сбивчивом, безвольно повторяющемся движении, свойственном скорее механизму, чем живому существу. Отец все так же скрежетал и стучал зубами, у него всё так же неестественно kloкoтaло в глотке. Всё это находило приступами:

после пятнадцати-двадцати минут покоя оно медленно, прострелами, начиналось и затем усиливалось. Доски, привязанные к его кровати, делали картину происходящего еще страшнее.

Таня за весь день ни разу не посмотрела на меня. Мне было совестно расстраиваться из-за этого. Я даже готовился совершенно потерять Таню и вообще отказаться от мысли о ней. Может быть, в этом сказывалась моя юная, бессознательная религиозность: втайне я верил, что, отказываясь от своих плотских помышлений, я немного помогаю Тане духовно.

Наступил вечер, а за ним ночь. Все уснули. Как бы поддавшись общему успокоению, притих и Танин отец. Таня, одетая по-больничному в одну рубашку и спортивные штаны с полосками, сидела на стуле у отцовского изголовья. В палате было темно, только над его подушкой горела небольшая лампочка-прищепка, принесенная Таней из дома. Таня немного повернула её, чтобы свет не бил отцу в глаза, раскрыла какую-то книгу и начала читать. Лицо её выражало усталое, рассеянное безразличие к этой книге. Таня отвлекалась на малейшее движение со стороны отца и, как только ей чудилось, что он пошевелился, тут же захлопывала книгу, без всякой закладки, откладывая её и наклонялась ко больному. В один из таких моментов я успел кое-как разглядеть обложку. Точно уже не помню, что это было за произведение. Помню только, что это была не классика, а что-то такое, что можно было купить даже в газетном киоске. Какой-нибудь современный роман. И оттого, что книжка была, что называется, не умная, я немного иначе поглядел на Таню. Я-то связывал её очарование с тем немногим, чем располагало моё знание искусства. Я, втайне от себя самого, был уверен, что Таня вобрала в себя образы всех изученных ею прекрасных литературных героинь. Думал, что её обаяние, её доброта происходили от особенной мудрости, и в том числе книжной мудрости. Но вот она сидела со своим дешёвеньким романом, в спортивных штанах с полосками, и я видел, что всё прекрасное в ней взялось не из книг, а принадлежит самой жизни.

Прошло полчаса. Таня устала читать и закрыла книгу. Она положила руки на доску отцовской кровати, а голову положила на руки, лицом ко мне.

Лампа светила ей в затылок, освещая только её гладкие волосы по контуру силуэта. Я не видел её лица. Я видел только темное, задумчивое пятно и поэтому не знал, смотрит ли Таня сейчас на меня, или же её глаза закрыты. Но я пове-

рил, что она смотрит на меня, нарочно смотрит, зная, что я не могу видеть её глаз. Я засомневался: «А не догадывалась ли она все последние полчаса, что я наблюдаю за ней? Если это так, то, значит, она думала обо мне, думала, даже не смотря на ужасное положение отца. Просто ей было стыдно, совестно от него отвлечься, и поэтому она нарочно не смотрела на меня».

Как раз в ту секунду, когда я так подумал, у отца снова начался довольно сильный приступ. Таня быстро обернулась к нему, смочила тряпку в ванночке с водой и взволнованно стала проводить тряпкой по его щекам, шее и груди. Через десять минут отец снова успокоился и задышал ровнее и тише.

Прошел час, потом полтора, два: приступ не возобновлялся. Таня не прекращала проводить по лбу больного влажной тряпкой. Я продолжал думать о том, вся ли была Таня в своей заботе или все-таки втайне думала обо мне.

Я видел и в глубине души понимал её святую недоступность в эту минуту, но там, еще глубже, всё во мне молило Таню, чтобы она, наконец, позволила себе легкомыслие, забыла о совести. Но она всё не обращала на меня внимания, и я боялся, что, может быть, мысленно прошу её о том, о чём она, в своей чистоте и в своей беде, даже не помышляет.

Я немного приподнял голову над подушкой. Наверное, глаза мои блестели в тесном свете лампочки, как у какого-нибудь волчонка или лисенка. Я сильно волновался. Если не считать Таниного отца, в палате не спали только я и сама Таня. Со всех сторон раздавался животный храп мужиков, но я не слышал его. «Посмотри на меня, повернись ко мне», — мысленно просил я Таню. Но она не замечала меня. Я громко вздохнул и со звуком бросил голову на подушку. Таня всё не отвлекалась от отца. Прошла минута, и я задышал нервно, громко и тяжело. Я уверял себя, что просто я волнуюсь и ничего не могу с собой поделать; что мне душно, и лишь поэтому я так дышу. Но я обманывал себя и старался обмануть и Таню — моё дыхание хотело сказать то, на что не поворачивался язык: «Ну, прошу же! Оставь его сейчас! Ему хорошо, ему уже лучше! И иди, иди, наконец, ко мне!» Думаю, успокоиться и уснуть было вполне в моих силах: я сам, свободно и сознательно выбрал этот обман. Но обман причудливо сплелся с действительностью, и из исполнения моего фальшивого, хитрого плана стало рождаться совсем живое ощущение: я по-настоящему вспотел от невозможности терпеть, от неразрешенности, висящей в воздухе. Здоровая нога стала у меня сырой, словно погрузилась в боло-

то, в больной ноге забил пульс. Я еще раз приподнял и бросил голову на подушку и как-то нарочито безнадежно уставился в потолок. Я уже был уверен, что мне действительно тяжело дышать, и даже поверил, что совсем задыхаюсь. Я так глубоко врал, что стал для самого себя совершенно искренним, и из глаз моих потекли настоящие слезы. Меня душило что-то похожее на ревность. Я думал, что если Таня и сейчас не подойдет ко мне и останется с отцом, значит, и вчера, и позавчера она просто издевалась или легкомысленно подшучивала надо мной. Я захныкал, как ребенок, громко, почти в голос. И тогда я услышал, как закрылась книга.

Я быстро поднял голову и увидел в свете лампочки Танин силуэт, радужный от моих слез. Таня встала, выключила свет и пошла ко мне, шепча: «Ну, что ты, что ты, хороший, перестань, что с тобой?» Она присела рядом, на край моей койки. Я потерял последнее достоинство и тут же суетливо подвинулся в сторону, освобождая место для Тани; я уже не стеснялся показать ей, что только этого я и ждал. Таня провела мне рукой от лба по щеке и по шее. Я, заикаясь, успел поцеловать её ладонь. Так собаки успевают лизнуть глядящую их ладонь хозяина. Потом на одну секунду встала полная тишина. Таня словно о чем-то задумалась в эту секунду, и вдруг я почувствовал приближение её лица, а затем её губы на своих губах. Я обнял Таню и не дал ей отнять от меня губ, я боялся кого-нибудь разбудить и только с внутренней силой шептал: «Таня, любимая, не уходи, всё будет хорошо». — «Успокойся, успокойся», — шептала Таня. Она легла рядом со мной, погладила меня, чтоб я перестал хныкать, и расстегнула пуговицы на своей рубашке. Вскоре я благодарил природу за то, что глаза человека привыкают к темноте: теперь я мог не только чувствовать, но и видеть Таню. В лице её оставалась задумчивость. Я боялся, что девушка вот-вот вырвется из моих объятий. Поэтому я умолял её остаться, и шепотом, и взглядом.

Даже в ту секунду я понимал, что близость не может получиться красивой и даже не будет удобной: любое неосторожное движение могло вызвать такую адскую боль в моей сломанной ноге, что я тут же разбудил бы всех своим криком. И всё же я не отпускал Таню. Она и сама не сопротивлялась, не отстраняла моих рук. Я шептал ей «любимая, любимая»... Она, казалось, была немного бесчувственна, безвольна. Меня это не оскорбляло.

Несмотря на то, что я ждал и сам добивался этой минуты, происходящее показалось мне таким неожиданным и таким чудесным, что я не

смог выпить своего наслаждения равномерно и до дна. Сердце выскакивало у меня из груди. Я переволновался, перепугался, и поэтому, уже не помню как, скоро заснул, надеясь, что Таня теперь навсегда останется рядом...

Даже во сне я боялся, что она уйдет. Мне снилось, что надо мной наклонилась нянечка тетя Маша. Она любовно гладила меня своей сырой, сморщенной рукой, но я точно знал, что это не тетя Маша, а Таня, и поэтому тянул губы к старой санитарке. Потом во сне появился врач Алексей Валерьевич, и я хотел поцеловать врача, потому что это тоже была Таня, а не врач...

Я проснулся. Тани не было рядом. За окном было не совсем еще светло, но мужики уже не спали. Они тихо о чем-то разговаривали. Я сразу не расслышал, о чём. Потом я приподнял голову: лампы-прищепки не было, Таниного отца тоже не было, одна доска была отвязана и висела на боку кровати. Я спросил мужиков:

- А где Николай? (его так звали)
- Увезли. Опять был приступ.
- Шнурок на руке разорвал.
- Язык прокусил себе.
- Почему ж я не слышал? — сказал я вслух.
- Мы-то откуда знаем? Сладко спал, видеть...
- И невеста твоя теперь ушла.
- Жалко девчонку...

Через день мы узнали от тети Маши, что Николай, Танин отец, умер. В этот же день я видел Таню еще один, последний раз. Дверь нашей палаты была приоткрыта сантиметров на двадцать. И в этих двадцати сантиметрах дважды мелькнула она, вся в черном. Я не стал даже задаваться вопросом, думала ли она сейчас хоть немного обо мне.

Прошло еще дней десять. Мне вытащили спицу, наложили гипс, поставили меня на костыли и отпустили домой.

Я сильно соскучился по дому и хотел как можно скорее вернуться к прежней жизни. Хотел, чтоб никакой памяти о неподвижности, о гадком, тоскливом больничном воздухе больше не осталось. Но вечером я сидел на своей кровати, брал руками тяжелую загипсованную ногу, закидывал её на простыню, потом ложился сам, гасил свет — и первая мысль, приходившая мне в голову, была о Тане. Мне было очень жаль, что я в ту ночь, которую было невозможно вернуть, так рано уснул и не взял всего, что мог взять. Мне кажется, что путешественник, умирающий от жажды в безводной пустыне, так же жалеет, что в тех краях, где была вода, он не достаточно жадно её пил.

Тихая битва

Рассказ

Береговая жизнь

КОГДА НА НАШЕ побережье приходит апрель, я провожу все дни на песчаном берегу моря. Туда, где гладкий песок сменяется покровом сухих жестких растений, волна не дохлынывает — время привыкло к морю и само провело эту грань между песком и наземными травами. Я люблю спать на краю их покрова, у самого песка. Я просыпаюсь среди ночи и могу потрогать море рукой, волны попеременно всплескивают у самого моего уха. Апрельский ветер шелестит в растениях и в моих волосах, он прохладен, он дарит все запахи моря; я гляжу в звёзды, задумываюсь и понимаю, что больше мне ничего не надо, кроме женщины. Кроме женщины. Я уверен, что скоро она появится, и всё, чем я занимаюсь днём, — это ищу и ожидаю её на берегу.

Если чего-то по-настоящему недостаёт, то всё вокруг наполняется для тебя предчувствием этого. Я хожу по берегу и внимательно вглядываюсь во всё, что вижу, уверенный, что во всём этом действительно могу найти женщину, — так возникает моя любознательность, так море обучает меня жизни. Я люблю всё, что вижу; так же, как буду любить мою грядущую женщину. Я люблю желтых червей, которых выкапываю на отливе из песочных кратеров обломком крабьего панциря, чтобы ловить на них рыбу; пальцы от этих червей становятся зеленоватыми. Я люблю рыбу, которая, открывая и закрывая рот, быстро умирает с открытыми глазами на днище моей лодки. Я люблю рыжих прозрачных насекомых-однодневок, которые с первой же пойманной рыбой отыскивают мою лодку среди моря и прилепляются к тому липкому месту днища, где рыба билась и оставила свою слизь. Насекомые хотят умереть на этом месте, уверенные, что на нём возникнет их потомство.

В апреле я совсем забываю, *что* находится там, где кончается трава, на которой я провожу ночь. В этот месяц для меня существует только море, небо над ним и полоса берега. Всё остальное представляется мне белым и как будто отрезанным, словно его нет. Мир делится для меня на две ровные половины: существующую, цветную, бережную, которую я вижу, — и несуществующую, белую, которую я не вижу и в которую невозможно попасть, по крайней мере, в апреле. В этой небывалой половине нет ни неба,

ни звезд. Да и ничего там нет. Небо и звезды только здесь, над морем и над моим берегом. Дальше — обрыв.

Разводя огонь для приготовления рыбы, я подбрасываю в него траву, от которой в голове наступает дурман. Но я подбрасываю её не для дурмана, а только для того, чтобы костер горел живее. Поэтому апрельский ветер быстро освежает мою голову, и я ничуть не жалею, что опьянение кончилось. Я не думаю об опьянении. Иногда меня отыскивает на берегу мой товарищ **Мина**, чтобы поговорить со мной. Его люди, живущие именно в той половине мира, о которой я забываю в апреле, посылают его на мой берег за пьяной травой, именно той, которую я подбрасываю в костер. И этим людям нужен именно дурман. Каждую ночь они вместе накрываются большим кожаным мешком и дышат травяным дымом долго-долго, пока не начнут видеть то, чего нет. Чтобы и дальше верить в существование того, чего нет, им надо снова накрываться мешком. Мне кажется, что Мина завидует мне, хоть и искренне любит меня. Он грустный человек, хотя, собрав полный обхват травы, он улыбается своими коричневыми зубами при разговоре со мной. Может, он предвкушает свои ночные видения. Кстати, зубы у него такие плохие всё от той же травы.

Тихая битва

ТЕПЕРЬ Я ХОЧУ рассказать о том, что я видел этим апрелем. Я видел это и прошлым, и позапрошлым апрелем, но мне кажется, что тогда мой возраст был ещё недостаточен для того, чтоб я готов был об этом рассказывать.

Каждый апрель содержит в себе две-три ночи, когда из моря в огромном количестве выползают на берег крабы. Они никогда не забираются на траву, где я лежу, они только медленно ползают на песке. Я ложусь на траву, лицом к морю, а ногами к белой, небывалой половине мира, и, положив подбородок на руки, наблюдаю гладь берегового песка, которая вся шевелится от крабов.

Именно в эти ночи, из самой границы песка и моей травы, просасываясь из глубины своими слепыми головами, появляются *глинники*.

Вид у этих существ самый наивный. У них нет никаких средств обороны от врагов. Они похожи на вытянутые кусочки незастывшей черной смолы или на плод черного кабачка. Кажется, что если разрезать глинника, то внутри у него не будет ничего особенного, а будет то же, что и снаружи — черная мягкая масса. У глинника

нет ни конечностей, ни глаз. У него только два отверстия — одно спереди, а другое сзади. То, что спереди — это его рот. Несмотря на наивную и незащитную внешность глинника, лучше не засовывать палец в этот рот, а то быстро потеряешь палец, если под рукой не окажется чего-нибудь острого. Причем глинник нанесет этот страшный вред, оставаясь с виду, да и не только с виду, таким же наивным и даже трогательным существом. Длина глинника — от полутора до двух ладоней. То, что принято считать его головой, заканчивается закругленно, как свисающая капля мягкой смолы. А туловище завершается тупым обрубленным хвостом. Это и нельзя назвать хвостом, потому что у глинника невозможно выделить каких-нибудь отдельных частей тела — он весь, от самой головы, представляет собой один хвост. Вообще, если человек никогда не видел глинника и найдет его мертвое тельце днём, извалянное в песке, а потом омоет это тельце в море, то, рассмотрев его, этот человек захочет проткнуть его чем-нибудь или откусить от него кусочек. Не знаю, почему я так думаю.

Время апрельского появления глинника длится столько же ночей, сколько и время скопления на берегу крабов. Дело в том, что глинники — охотники за крабами. В это сначала можно не поверить, особенно если поглядишь на глинника, когда он не в деле. Но это так. Однако я тоже не могу сказать: «Глинник — это злой уничтожитель, яростный хищник, убивающий крабов». И не могу так сказать даже после того, как не раз наблюдал тихую битву глинника с крабом. И не могу *именно* потому, что я наблюдал эту битву. Я наблюдал её в апреле, когда всё говорит мне о любви и о грядущей женщине.

Я лежал и видел, как один краб рисовал своими ребристыми ногами на песке, вылизанном волной, вблизи от меня. Он рисовал что-то круглое и несколько раз повторял рисунок. На берегу у крабов нет цели; не знаю, зачем они выползают сюда. Может, для того, чтобы покормить собой глинников. Здесь видна их крайняя неловкость. Они сейчас вне своей стихии, где они так проворны и где им так же удобно, как ленивцу, такому неуклюжему на земле, удобно с его конечностями-крючками на ветке дерева. Мне приятно смотреть на краба.

Тем временем, вижу я, медленно, словно пожирая песок, по влажному берегу движется один из глинников. Он движется не к крабу, потому что не видит краба и не имеет никакого ориентира в движении. Просто что-то вызвало его в эту ночь из земли, и вот он ползёт. Тот краб, которого я выбрал для наблюдения, сов-

сем увлекся рисованием на одном месте. Кажется, у него от этого закружилась голова, и вот он неуклюже чешет её одной из конечностей и никак не может начесаться. Через некоторое время в одну из его ног нечаянно упирается закругленным носом черный глинник. Это означает, что крабу уже не спастись, хотя глинник, что самое главное, не желает ему никакого зла. Предвидя гибель краба, я вспоминаю дневную рыбалку: я тоже не желал зла рыбе, которую заставил умереть, и любил её так же, как буду любить свою женщину. Поэтому я не вмешиваюсь и не спасаю краба. Глинник, безразличный к тому, в каком направлении продолжать движение, медленно взбирается на краба и на вершине панциря, как бы позволяя себе отдых, застывает. Потом он медленно переваливается на теле краба, лаская его. В этот момент своей гладкостью и искренностью глинник напоминает мне все ту же женщину, шею которой так хочу я чувствовать преданно прижатой к своей груди. Видимо, и крабу приятна нежность и мягкость глинника. Краб начинает цепенеть и застывать от какой-то блаженной внутренней дрожи. Тогда глинник наивно и слепо приступает к своему делу. Он натягивает рот на крабе колено и начинает постепенно сокрушать его, прочно присосавшись животом к вершине панциря. Вскоре нога краба удивительным образом отделяется от его тела, мягко, как палка из размятой глины. В момент отрыва конечности краб делает одно лишь резкое движение. Так лежащий человек, которому вправляют позвоночник, бьет кулаком по столу, почувствовав боль от сильных движений врача, а потом чувствует счастливое облегчение. Кажется, наслаждение нежностью глинника для краба несравненно выше болевого страдания, и он опять уходит в преданное оцепенение, просящее продолжить ласку. Глинник медленно высовывает из себя несъедобные остатки крабьей ноги, они выпадают на песок к ещё живым ногам краба. Глинник ползет по панцирю дальше и как раз натывается на дыру, оставшуюся от вырванной конечности. Тогда он утончается, почти как лента, и начинает словно затекать в эту дыру. Краб опять вздрагивает. «Наверное, — думаю я, — я так же вздрогну, когда лежащая на мне женщина в порыве ласки укусит мою шею». Я чувствую, как от волнения множество маленьких существ зашевелилось внизу моего живота. Может быть, меня охватывает похоть, и в то же время мне хочется плакать от радости и красоты. В белой, небывалой для апреля половине мира такие слезы называют прикосновением Бога. А я чувствую это, глядя, как глинник сцепился с крабом смертоносным объятием.

Я встаю с травы и хожу какое-то время по береговой полосе, чтобы плакать и чувствовать счастье. Когда я возвращаюсь обратно, на прежнее место, я вижу убитого краба, разрушенной звездой распластавшегося на песке. Глинник, поглотивший его мясо и отнявший у него жизнь, медленно ползет обратно, на границу песка и травы, чтобы снова зарыться в глубину, хоть он и не знает, что ползет именно туда и именно за этим. Меня заставляет улыбнуться его неторопливость, его безгрешная внутренняя тишина, которую я совмещаю с фактом недавно содеянного им убийства.

Таких спокойных сражений происходит тысячи и тысячи за одну ночь. А потом волны всасывают в море и живых крабов, и останки мертвых.

Май

В ОДИН ИЗ ДНЕЙ на исходе апреля я увидел вдалеке на золотых блестках волн силуэт женщины. Она тоже искала меня. До середины мая мы жили на берегу и каждую ночь проводили в объятьях. Когда она засыпала, я долго еще любовался ей и преданно водил своей щекой по всему её телу.

В середине мая ветер стал уже горячим и жарким. На целый год ушла та прохлада, за которую я так люблю апрель. Я сказал женщине, улыбаясь:

- Теперь пойдём.
- Куда? — спросила она.
- Туда, — я показал рукой в сторону именно той половины мира, в которую не верил на протяжении всего моего счастливого апреля. И добавил слова, которые принято говорить там.
- Туда, искать Бога и растить детей.

Почему-то я сказал это тоном шутки, но я знал, что это правда. Всё это так и будет, и должно быть.

Чаша терпения

Рассказ

1

Я ВСЕГДА догадывался, что способность человека спокойно держаться наплаву может иметь предел. Я и прежде чувствовал, что мир суёт мне боксёрские дразнящие тычки в харю, но всегда тактично, с удивительным чувством ме-

ры, чтоб не пересечь некоей критической черты, определяющей возможности моего терпения. С такой же тактичностью, наверное, умные рабовладельцы мурыжили своих чернокожих рабов, чтобы и выжать из них максимум труда, и в то же время не переборщить, а то и самые понурые взбесятся.

Ну вот, допустим, у меня зубная боль (первая гадость, которая сразу приходит на ум). Боль адская, а я, предположим, знаю, что мне надо это терпеть еще дня три, поблизости нет поликлиники. В таком состоянии и так-то иногда завидуешь мертвым; а если вдруг под таким гнетом узнаешь, что твоя любимая убежала к другому, что твои родные погибли или что твой дом сгорел? Тогда, надо думать, моментальная потеря основ — ты не сможешь удержаться в седле, не выдержишь.

Но для этого, видимо, и существовала во мне всегдашняя уверенность, что рабовладелец не переборщит с нагрузкой; что, в случае чего, зуб с меня будет довольно, и мир это всегда почувствует. То есть, пока болит мой зуб, мой дом не сгорит и родные не помрут.

Я знал, что уверенность эта не держит никакой критики, что миру, должно быть, плевать, какую нагрузку я получу от него — посильную или непосильную. Но до поры до времени это действовало. Всё действует до поры до времени.

Такое обывательски-суеверное отношение к жизни, такое тяп-ляпство я замечал не только в среде так называемых простачков. Люди, занимавшиеся искусством, читавшие лекции по философии, истории, снимая свои профессиональные костюмы, часто открывали мне ту же язычески-солдафонскую основу, которую, может быть, и сами не замечали в себе, прикрываясь мыслью, что какие они за кафедрой, такие и в жизни. Но кафедра кафедрой, а чтобы держаться в реальной жизни, надо всегда иметь перед собой такую вот простонародную бездоказательную болванку и вести это жите на глазок.

Так и я был уверен в себе, я был уверен, что, что бы ни случилось, моё жизнелюбие или, проще сказать, страх смерти никогда не оставит меня.

2

НО НАСТАЛ ДЕНЬ, когда мне позвонили и сказали, что моя Ира (жена) в реанимации, несчастный случай. Я был тогда дома, один, жарил для неё картошку с курицей, она вот-вот должна была вернуться с работы. И тут этот звонок.

Я проглотил полученную информацию, совсем не распробовав её вкуса. Выключил плиту, натянул штаны и пошел в центральную больницу. Мне кажется, температура моего тела была градусов тридцать. Но помню: то самое чувство защиты, даже какое-то бессознательное, не нуждающееся в отчете. Я в непробиваемом стеклянном колпаке еще не осознанного несчастья. И другое несчастье уж точно ко мне не стучись.

Естественно, я не верил, не мог себе сразу живо представить, что моя Ира, вся разбитая, сломанная, — хотя еще часа два назад здоровая и, как обычно, веселая, — лежала теперь в этих проводах, капельницах, трубках — во всей этой неожиданной и нелепой медицинской дряни. Я знал это, но не верил в это.

Но когда зашел в больницу и убедился в правдоподобии её стен и понял, что я ведь сюда пришел не просто так, — тогда всё больно забились внутри. Я почувствовал огромную жалость к себе самому. Я понял, что у меня нет ни одного защитника, и вопрос моего счастья, которое я считал божественным и бессмертным, решается сейчас в кафельной реанимационной комнате с гулким безразличным эхом. Всё моё счастье было там, в этом кафеле, и это был неоспоримый факт, якобы согласный с законами жизни.

К Ире меня, само собой, не пустили.

Если не вдаваться в художественные подробности мучений человека, у которого умирает жена, а сосредоточиться на сухой психологии (будь она, впрочем, проклята), то я помню, что внутри меня чередовались минуты безотчетной, как у ребенка, жизни с минутами возобновляемого наблюдения за самим собой. Полчаса, допустим, одно, а полчаса — второе.

Сначала я терял себя, то есть вообще не говорил себе «я». Я весь был в невероятном свалившемся на меня положении. Фантазия приходила мне на помощь, как обезболивающее лекарство огромной силы, но очень короткого действия. Я живо представлял такие радостные ситуации: к примеру, нам с Ирой разрешали разделить боль поровну, и в целом получалось, что мы оба поломанные, но все-таки не безнадежные. Лежим рядом и рады, что мы вместе и что мы живы. Или я вселял в себя уверенность, что вот-вот откроется эта дверь, и появится кто-нибудь, кто скажет: «Не беспокойтесь больше. Конечно, ей сейчас нехорошо, но жизнь вне опасности. Её выздоровление будет делом времени». Я представлял это и на минуту становился почти спокоен, словно эта обнадеживающая речь уже прозвучала на самом деле...

Вот тогда я не знал себя. Скорее всего, все люди, когда заняты подобной фантазией, не за-

мечают ничего и никого вокруг и движениями лица и головы, как помешанные, поддакивают своим вымыслам. Так, наверно, и я: сидел, поддакивал, то радовался, то переживал по поводу вымышленного и не желал верить настоящему. Но потом на меня сваливалось ощущение действительности, в которой я уже не находил себе никакой защиты. И тогда (со страху, наверно) я словно вылетал из себя самого, чтобы со стороны глядеть на себя, страдающего о жене, и не страдать целиком, безраздельно. Тот я, который вылетал и смотрел со стороны, был так прохладен, спокоен. Ему было легче. Он говорил: «Наверно, я очень сильно люблю её, раз так переживаю. Тем больнее будет её потерять. Наверно, у меня такое бледное лицо, какого не было до этого никогда, потому что ничего страшнее в моей жизни еще не происходило. Наверно, такое лицо — самый ценный материал для художника. Ни одного ленивого мускула — каждый в напряжении». Потом настоящий я говорил: «Чего ты тут рассуждаешь, рассматриваешь, такой холодный! Это ведь твоя настоящая жизнь, и дела в ней сам знаешь какие. Разве так можно — еще о чем-то холодно размышлять?!» Тут я опять забывал себя и снова предавался обнадеживающим фантазиям.

Иногда кто-то выходил из двери, за которой было еще неизвестно сколько коридоров, дверей и даже этажей и лифтов перед той единственной дверью, за которой лежала моя Ира. (Но мне казалось, что она лежала прямо за этой, ближней дверью.) Тогда я срывался со стула, подходил к вышедшему человеку (в основном женщине), уверенный, что каждый, кто бывает за этой дверью, озабочен именно состоянием моей Иры, больше ничем. Но уже через два часа моего пребывания в больнице я убедился в безразличии и необъятности пространства, которое находилось за этой ближней дверью, дальше которой мне не было пути. Ира терялась там. Выходившие и заходившие через эту дверь люди каким-то привычным, холодным и в то же время аккуратным жестом показывали мне, что они мне не помощники. Они как бы давали понять: «Мы так привыкли иметь дело со смертью, что Вы не должны обижаться на нас за наше профессиональное безразличие к Вашему личному горю». И я привык к этому и сидел, надеясь, что люди, которые все-таки имеют отношение к Ире, сами найдут меня, если что.

Еще меня удивляло, что я перед этой проклятой дверью, за которую меня не пускали, сижу совсем один на длинном ряду ожидательных стульев, и нет еще хотя бы нескольких людей, с которыми мы могли бы создать подобие компа-

нии тоскливых невольников у кабинета зубного. Следовательно, не было людей с таким же горем, как моё. Словно наш город в этот день обагрился одной только ириной кровью.

А тревога, тем временем, опять и опять сменялась тупой холодной наблюдательностью. Я смотрел на свои колени. На мне были вельветовые штаны болотного цвета. Типичные штаны, думал я, для главы молодой семьи, которая еще не завела детей, — скорее всего, человека интеллектуальной деятельности.

Нужные люди, вестники, всё не появлялись из-за двери. Я представлял, что там есть один главный человек, врач, который сейчас решает Ирину судьбу. Этот врач имел право пренебрегать мной и вовсе не думать обо мне, заставляя меня ждать и волноваться хоть целый год. Он имел право обидеться и строго поглядеть на меня, если б только я осмелился задавать ему вопросы и торопить его. Любовь к человеку была как бы механической частью его профессии — я должен был это знать и каждую секунду понимать, что он делает всё, что только возможно сделать, и нет ни доли халатности в его действиях...

...Это что-то совсем смутное из детства. Меня, ребенка, на несколько часов оставляют одного дома, давая мне в руки ценную вещь, кажется, какой-то недавно приобретенный дорогостоящий механизм. Мне говорят: «Не делай ничего с этой вещью и смотри, чтобы с ней ничего не случилось». Но, когда я остаюсь один — не то из какого-то любопытства, не то от самоубийственного детского желания сделать хуже себе самому, — я начинаю опасно заигрывать с этой вещью, словно нарочно подвожу всё к её поломке. Так и происходит: вещь ломается. Причем ломается безнадежно: пружины вылетают из неё, какой-то винтик закатывается в половую щель. Я чувствую близость конца света, жизнь становится для меня адом — что скажут взрослые?! В отчаянии я выхожу с механизмом на улицу, во двор — и тут не помню: то ли я подхожу к кому-то, кого давно боюсь, то ли к тому, кого сильно не люблю, то ли к тому, кто может просто отнять у меня мой механизм. Я подхожу к нему за тем, чтоб униженно попросить: «почини». Видя моё жалкое, заплаканное лицо, этот человек соглашается, и из недруга или просто постороннего человека он на время превращается в моего самого дорогого друга, я болею за его успех, как за счастье самого любимого человека. Каков бы он ни был для меня прежде — сейчас он спаситель моего мира. Посапывая и хмурясь, он ковыряется в механизме, — а я, лишь издали, наблюдаю за его лицом, я боюсь громко дышать

и чувствую, как сильно я его люблю, как страстно желаю я ему успеха во всех его делах, а значит, в первую очередь, и в моём деле. Может быть даже, это мой одноклассник — двоечник, но любитель поковыряться в велосипедах и приемниках. И я, способный начитанный мальчик, смотрю на этого двоечника, почти как на отца. Одна его способность починить вещь разом покрывает все мои способности, которых он, двоечник, не имеет и которые, оказывается, так мало нужны для человеческого счастья. Конечно, я не тороплю его, хотя очень надеюсь, что он, мой спаситель, сумеет починить механизм раньше прихода взрослых, чтобы взрослые, когда вернутся домой, не заметили никаких изменений и сам я мог навсегда забыть этот ужас и больше никогда не прикасаться к механизму...

Вот что-то такое я чувствовал по отношению к врачу, в руках которого сейчас была Ирина жизнь. Но надежда на всемогущество людей — слишком непрочный, недостаточный помощник. Выходило так, словно все мы, люди, находимся в одном общем стеклянном шаре, и все наши счастья и беды возникают и протекают в нём, мы рождаемся и умираем в нём — а потому и решать все наши проблемы мы должны только в этом шаре и средствами, которые имеются в нём, не ожидая никакой помощи извне. От этого становилось страшно одиноко, хотелось вырваться из шара.

По-настоящему, хотелось помолиться. Но мне казалось, что если я во дни спокойствия и благополучия не прибегал к вере и молитвам, то нынешнее моё желание молиться будет лишь следствием моей беспомощности и слабости нервов, а не настоящим предчувствием Бога.

И вот получалось, что я вообще ничем не могу помочь своей жене. Стеклянный шар сужался, все меньше и меньше способов спасения нащупывал я в его пространстве. Когда ощущение этого сдавливания доходило до предела, я снова трусливо бежал из себя наружу, и дошло уже до того, что я словно слышал предательский голосок: «Смотри, у тебя горе, а ты всё-таки можешь наблюдать за собой, рассуждать, всматриваться и даже извлекать из своего горя кой-какие эстетические выводы».

Прямо напротив меня находилась раковина для умывания. Над ней было зеркало. Я встал и подошел к зеркалу: мне стало интересно, как выглядит лицо человека с таким горем, как моё, и с такой же внешностью, как у меня. Но, желая увидеть страдающего человека, сам я был наблюдателем, а значит, и в зеркале видел наблюдателя, а не страдающего человека. Перед зеркалом можно только кривляться. Я постыдился

своего занятия, почувствовал себя виноватым перед Ирой и вернулся на стул.

Устав от смены этих двух состояний — искренней, но бесплодной надежды и сухого, тоже бесплодного, самоанализа, — я беспомощно и униженно притих.

Коридор был пуст. Электрический свет еще не включили, за окном и так было не солнечно, да еще вот-вот собиралось темнеть, а я вообще сидел в тёмном закутке коридора и только боковым зрением видел его освещенную окнами часть. Вдруг, словно кто повернул какой-то рычажок, всё в целом посветлело. Наверное, туча отгородила солнце. Что было умирающе-серым и уже словно не надеялось быть каким-то другим — то пооранжевело, что было уныло-коричневым — поалело. На полу и стене коридора стали четкими теплые квадратные пятна света. Заблестел зеленью какой-то бедный неухоженный цветок в горшке, вроде маленькой берёзки, и вокруг него закопошились на солнце пылинки воздуха. Это наступление света после темноты вдруг совместилось во мне со всем нашим с Ирой прошлым, будто это было что-то очень близкое — наше прошлое и солнечный свет. Я сразу постарался убедить себя, что Ире действительно станет легче, если я буду вспоминать её здоровой и полной жизни, и стал вспоминать, глядя на цветок и на тёплые пятна.

Вспомнил, как сначала она была для меня одной из многих девушек. Ничего особенного; я проходил мимо неё или говорил с ней, не чувствуя никаких роковых предначертаний; даже чувствовал эти предначертания рядом с другими. Многие девушки казались мне куда интересней и симпатичней, чем она. Потом я вспомнил наши встречи, какие-то скромные, половинчатые, а не полные осознания, что мы созданы друг для друга. Я даже смеялся про себя потом, представляя такую картину: два эскалатора, мужской и женский, движутся один вверх, другой вниз. Мужчины и женщины медленно проезжают друг мимо друга, как две хоккейные команды после матча. Каждый человек может сплестись на какое-то время с кем угодно — большой разницы нет, — а рано или поздно может сплестись с кем-нибудь и навсегда и, так сказать, сойти на берег, уже подержанным, потрепанном, уставшим от однообразия пути. Сплетется, не сильно задаваясь мыслью, что можно было проехаться ещё, что нынешний избранник мало чем отличается от остальных. Так встречались и мы. Видимо, время моей и её жизни перевалило за какую-то особую черту, и мы остались вместе. Наверное, каждый из нас в один и тот же день сказал себе: «Зачем всю

жизнь искать *особенного* человека? Надо искать *хорошего* человека». И каждый нашёл. И Ира заняла для меня то место, которое раньше я отводил будущей возлюбленной в своих мечтах. Вот я раньше мечтал, что буду лежать с любимой на траве и глядеть в небо, — и я лежал на траве и смотрел в небо вместе с Ирой; я мечтал, что буду плыть с любимой на лодке по ночной реке, в которой отражаются звезды, а потом разводить костер на берегу и ночевать в палатке, — всё это я пережил с Ирой; мечтал, что буду любую секунду знать, что у меня есть надежный, порядочный, верный человек, — и таким человеком стала для меня она. А как привязывает вас друг к другу именно ваша ежедневная жизнь, так называемые будни. Бывало, я проводу дома несколько дней, одинаковых, полных лени, без дела, без пользы, с телевизором, с дневным сном. И как-нибудь вечером, с чувством стыда и тоски заглядываю ей в глаза и спрашиваю взглядом: «Ты не жалеешь о том, что сама выбрала *это*? Не хочешь отречься от *этого*?» А она отвечает, тоже взглядом: «Нет, ничуть не жалею». И на душе становится спокойно, как будто ничего большего в жизни и не надо.

Вообще, Ира всегда была не из разговорчивых, и сейчас в нынешнем её застенном реанимационном молчании мне слышалась та же живая, умная и нежная интонация, что и в её здоровом молчании. Но это снова была бесплодная фантазия, и я очнулся от воспоминаний.

Было уже почти совсем темно. В моём закутке не было как дневного света, так и электричества. Это дальше от меня, по потолку длинного коридора, было разбросано несколько слабых лампочек дрожащего зеленоватого света. Цветок — уже такой некрасивый, не украшение, а пленник больницы — смиренно привыкал к отсутствию солнца. Оттого, что уже очень давно никто не выходил из моей двери, я стал особенно бояться каждого следующего, кто выйдет. Наверное, все, кто прямо не касался реанимации, уже ушли по домам. Поэтому увеличивалась вероятность, что тот, кто выйдет сейчас, — выйдет именно ко мне, с окончательной вестью об Ире. И если днем мне так легко было представить, что этот человек выйдет с радостной вестью, то теперь, в одиноко звенящей электричеством полутьме, мне было еще в сто раз легче представить, как он выходит и говорит самые страшные слова. Мыслей, воспоминаний уже не могло быть, осталось одно тупое, тяжелое ожидание. К двенадцати часам ночи я уже потерял ясность мыслей и вообще забыл, зачем я здесь; я почти не мог ни страдать, ни жалеть, а только

помнил, что я чего-то жду (неважно, хорошего или плохого) и надо дожидаться. Проведя в таком состоянии еще полтора часа, я стал привыкать к этому ожиданию. Я нашёл в нём некоторое удобство: ведь если я жду, значит, плохого ещё не случилось. Я хотел было прилечь на стулья, но тут открылась дверь. (Странно: как будто без предшествующих этому шагов.) Появилась женщина. Поискав, она нашла меня взглядом в темноте, подошла ближе, сняла с головы свой бирюзовый убор и села рядом со мной, виновато прося взглядом, как взрослая у ребенка, чтоб я не боялся её и не отсаживался. «К сожалению, — сказала она почти шепотом, — мы не смогли её спасти».

3

Я ШЕЛ ДОМОЙ из больницы. Прошел шагов двести с полным отсутствием мыслей, а потом решил нарочно напоминать себе о том, что случилось, представлять это, насильно убеждать себя в этом, чтобы с самого начала привыкать к правде; слишком уж я не верил ей.

Из меня, наконец, стали литься слезы: сначала лениво, но затем все сильнее. Не знаю, на каком именно повороте они полились, что их родило. Ответить на это, видимо, так же сложно, как про дух и материю: что там первично.

Но именно в этих слезах зарыто что-то очень важное. Я был бы рад думать, что заплакал попростому; что понимание свершившегося несчастья захлестнуло меня; что я почувствовал себя самым одиноким и жалким человеком на земле. Но в том-то и дело, что, кажется, заплакал я именно оттого, что этого всего не было. Я оплакивал не Иру, а то горе, которого не чувствовал, и ту любовь, которой в себе не имел. При этом внешне я практически не отличался от того возможного человека, который плакал бы прямо по Ире. Наверное, было всего какое-то ничтожное различие, условно говоря, миллиметр, не больше. Но это был такой главный, такой решающий миллиметр, что он разводил меня и того возможного человека на разные полюса вселенной. Я плакал оттого, что не было слёз.

Потом я снова представлял Иру, мою жену, жизнь которой недавно оборвалась; а тот, кому она вручила эту жизнь, надеясь на его любовь, — тот убого копался в себе и не мог найти даже части того настоящего страдания, которое было бы достойно моей теплой, хорошей жены. И от этого я очень жалел её и почти уже любил нужной, настоящей любовью, пытаюсь разбить эту

последнюю стену толщиной в миллиметр. Но она не разбивалась. Я мог только жалеть Иру, что не дал ей настоящей любви, а самой любви не было.

И вдруг я остановился. Все люди, всех времен и народов, во главе со мной, и кроме, наверное, Иры, — показались мне куклами, неживыми механизмами, чьими-то бессердечными тварями, внутри которых совершенная пустота. От исторической старости, от количества новых и новых поколений на эти пустые механизмы налипло много слоёв пыли, такой же неживой, как они сами. Но по какому-то недоразумению бессердечные твари определили эту пыль как дар свыше, они принялись набивать себя ею и копить её. И вот они вдруг почувствовали, что они не пусты, что что-то в них есть. И хоть они и остались механизмами, они задвигались, зашевелились, заслезались, завлюблились, занадеелись, словно подражая какому-то высшему существу, которое действительно имеет живую способность к этому и обладает настоящим сердцем. И до сих пор они механически играют в радость, в дружбу, в любовь, в преданность, которые якобы где-то существуют в живом виде, — а в глубине их таится та же пустота, то единственно настоящее, что в них есть.

И вот я шел и уже не плакал, а рыдал, истинно тоскуя по тому высшему существу, которое обмануло меня надеждой быть не пустым, не внутренне мертвым, обмануло меня надеждой по-настоящему любить, а я обманул Иру. Я зашел в какой-то двор, сел на карусель и там плакал до тех пор, пока не стал задумываться о солёности слёз, текущих мне в рот, больше, чем об их причине.

Затем я пошел дальше. И около моста меня окликнули со спины: «Парень». Я не обернулся и пошел вперед, просто не допуская вероятности на кого-то отвлекаться, просто брезгуя возможностью с кем-то говорить. На это у меня была та самая липовая защита, с упоминания которой я начал свою писанину: «У меня горе. Больше меня никто не должен трогать».

А вышло не так. Я уже был на мосту, но тут меня догнали и хлопнули по плечу, довольно бойко. Это показалось мне настолько нелепым, что я не знал, как мне с этим поступить. Ладно: я повернулся на этот хлопок, сам не веря, что отвлекся. Передо мной стоял человек, низкорослый, в дерматиновой куртке, которая была ему велика. Он был коренастый; в кривых, ходких ногах чувствовалась большая привычка к жизни. Круглое, требующее и недовольное лицо смотрело на меня, как смятый кусок бумажки.

Позади него, под фонарем вначале моста, я увидел еще две фигуры. Мне вдруг стало мерзко оттого, что мысли мои направились в сторону са-мосохранения.

— Есть у тебя сигарета? — спросила мятая бумажка с такой же ловкой привычкой, так что это прозвучало одним понятным словом: «есть-сясиаре?»

«Говорить с ним о сигаретах?» — подумал я и пошел дальше.

Я рассуждал о прежней тактичности мира в отношении тычков в харю. Так вот, в этот раз мир явно перегибал. К человеку, потерявшему жену, ещё привязывались какие-то люди. Я удивленно шёл, не оборачиваясь.

— Э, куда! Слышь? Стоять, урод!!

Шагов прибавилось (уже шли все трое), и они ускорились.

Тут, прежде чем закончить, я остановлюсь на нескольких коротких секундах, потому что в эти короткие секунды во мне возникло самое позорное, самое трусливое желание: желание объяснить этим существам, в каком я положении, то есть воззвать к их милосердию. Сказать: «Ребята, не трогайте меня, у меня жена померла. Если б что было, разве я не дал бы. Вот, смотрите, могу вывернуть карманы: пустые ведь». И опять, униженно, как в том детском воспоминании, смотреть на них и ждать: подарят они мне счастье или нет. Практически это было желание прикрыться телом мёртвой жены, больше думая не о ней, а о себе. Я возненавидел себя, я захотел исчезнуть, не быть.

Нелепость западни, в которую посадил меня мир, страшно и молчаливо взбесила меня до состояния короткой радости. Я сжал в кулаке пра-

вой руки брелок-открывашку из нержавеющей стали и развернулся.

Последний раз до этого я дрался в средних классах. Потом, еще юношей, когда я представлял себя в кулачном бою, я всегда обдумывал, прокручивал в голове один удар — самый опасный, самый злой, как думал я. Это удар снизу, приходящийся точно в основание носа. Я верил, что таким ударом можно сразу уничтожить человека. И именно этого я сейчас страстно желал, желал больше всего на свете.

— Иди сюда! — говорил человек на ходких кривых ногах.

В расстоянии между кривыми силуэтами его ног мелькал свет оранжевевшего от фонарей асфальта в форме вертикальной лодки. Он быстро шел, наверное, уже готовя для меня удар. Но я сделал шаг навстречу и снизу сунул ему свой удар, гениально точный, как я и мечтал. Голова его откинулась, и он сразу упал, не произнеся ни звука и звонко треснув затылком об асфальт моста. А я еще подбежал и пнул, как мяч, его голову: со всей силы, но лишь по инерции, моё бешенство уже прошло.

Двое его друзей остановились, сказали по разу «бля». Оба в кепках, оба выше него, с длинными бритыми шеями и тоже кривыми ногами, они напоминали озадаченных зверей одного вида, сородича которых вдруг убило то, что должно было стать общей добычей. Может, они бы и принялись сами убивать меня, поведи я себя иначе. Но мои мысли были не об убитом, который лежал на асфальте. Я облокотился на решетку моста, спиной к ним, и положил голову себе на ладони. Ко мне пришло понимание: «Ира умерла!»